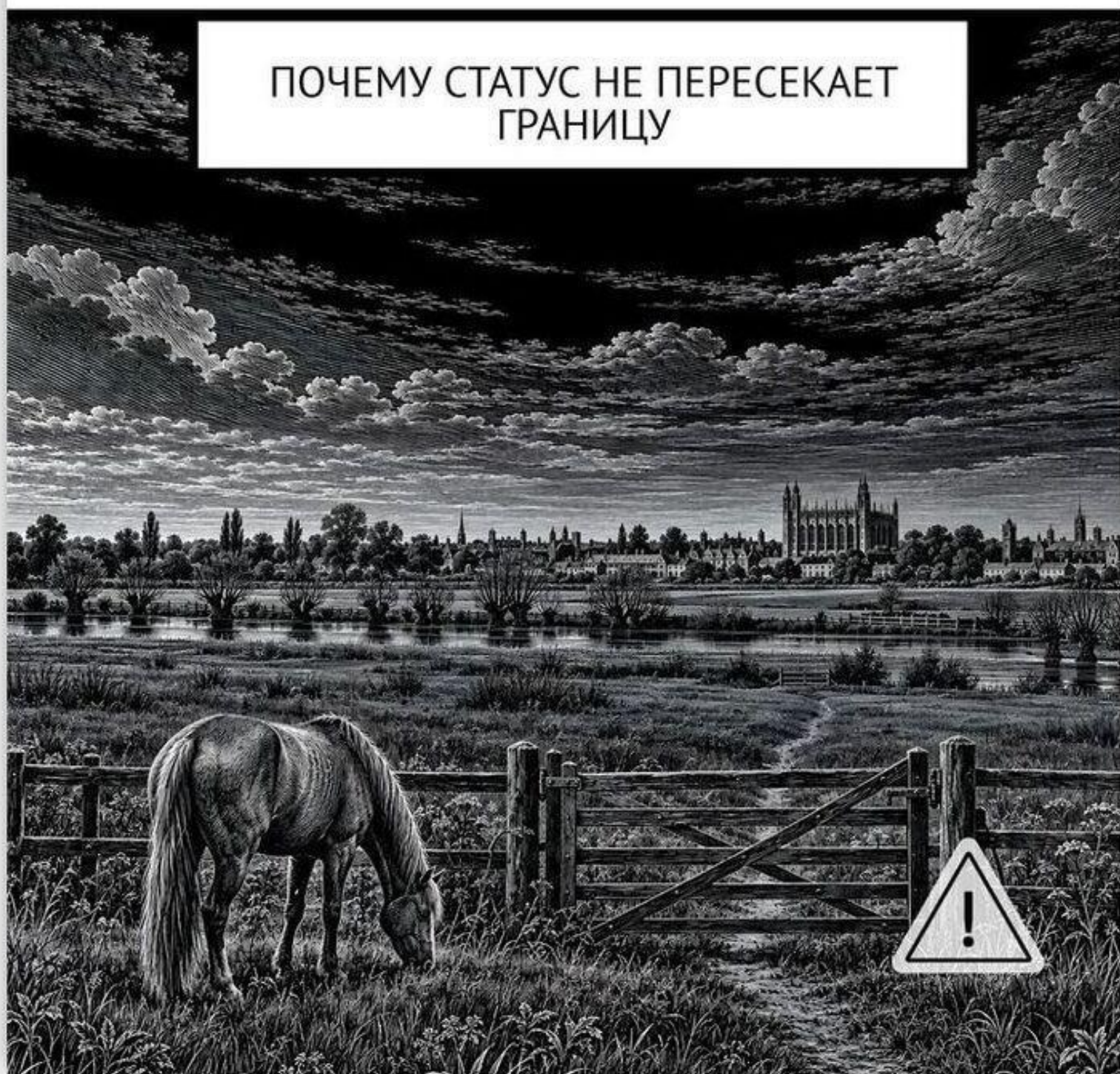


18+
СЕРГЕЙ КИРНИЦКИЙ

Лошадь не поможет

ПОЧЕМУ СТАТУС НЕ ПЕРЕСЕКАЕТ
ГРАНИЦУ



Сергей Кирницкий

**Лошадь не поможет. Почему
статус не пересекает границу**

«Издательские решения»

Кирницкий С.

Лошадь не поможет. Почему статус не пересекает границу /
С. Кирницкий — «Издательские решения»,

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН
И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Русские князья за рулём парижских такси. Немецкие юристы, которым Америка 1930-х не нашла применения, и немецкие физики, которых она встретила профессорскими кафедрами. Великая княгиня, открывшая дом вышивки. Набоков, ставший классиком чужой литературы и так и не ставший своим. Эта книга ищет закономерность за судьбами людей одного круга, чьи исходы разошлись до противоположных, — и находит её.

Содержание

Предисловие	6
Часть I. Обнуление	9
Глава 1. Багаж, который не долетел	10
1.1. Князя за рулём	10
1.2. Что человек считает своим	12
1.3. Средства, положение, принадлежность	14
1.4. Валюта, не имеющая хождения	16
1.5. Акцент как обнуление	18
1.6. «Меня здесь не понимают»	20
Глава 2. Виды капитала и их таможенная проходимость	23
2.1. Деньги проходят целиком	23
2.2. Навык проходит настолько, насколько независим от контекста	25
2.3. Естественный эксперимент 1933 года	28
2.4. Социальный капитал не проходит вообще	31
2.5. Спрос на той стороне	33
2.6. Матрица	35
Глава 3. Статусная несоразмерность	38
3.1. Имя без содержания	38
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Лошадь не поможет Почему статус не пересекает границу

Сергей Кирницкий

Иллюстрация на обложке С использованием ChatGPT

© Сергей Кирницкий, 2026

ISBN 978-5-0071-4430-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Есть предметы, защищённые от описания не запретом, а тем, что разговор о них сам является ходом внутри них. Различение людей по положению — предмет такого рода. Вопрос, заданный прямо, сообщает о спрашивающем больше, чем ответ сообщил бы о том, кого спрашивают; человек, объясняющий, как здесь всё устроено, этим объяснением помещает себя в определённую точку устройства. Молчание вокруг предмета не является ни стыдливостью, ни заговором. Оно рабочая часть механизма: система, о которой не принято говорить, не подлечит описанию изнутри — не потому, что носители что-то скрывают, а потому, что им нечего описывать. Носитель не следует правилу: он не знает, что оно существует. Он просто произносит гласные так, как произносит, и определяет собеседника за три секунды, не заметив, что произвёл определение.

Отсюда следует условие, на котором эта книга вообще возможна. Считывать систему различения сознательно способен тот, для кого её сигналы не срабатывают автоматически, — тот, кто вынужден их замечать, потому что не воспроизводит их сам. Это относится к любому наблюдателю такого рода, включая автора этой книги. Он находится вне описываемой системы. Сказано это не как оговорка, не как извинение и не как заявка на объективность, а как указание точки, из которой ведётся наблюдение. Описание, у которого не названа точка наблюдения, нельзя проверить: неизвестно, что в нём принадлежит предмету, а что — углу зрения.

О себе автор сообщает ровно столько, сколько нужно для этой проверки, и на этом разговор об авторе заканчивается — не на этой странице, а до конца книги. Здесь нет биографии, нет истории переезда и нет опыта, изложенного как обобщение. Причина не в скромности, а в порядке доказательства. Личное наблюдение годится для того, чтобы заметить механизм, и не годится для того, чтобы его доказать; доказывают даты, случаи и повторяемость исходов. Если описание неверно, оно опровергается материалом, а не сведениями об авторе. Если верно — сведения об авторе ничего к нему не прибавят.

У этой закономерности есть неудобное следствие, работающее и против книги. Лучшее из написанного о британском различении сделано людьми снаружи: одни приехали, другой деклассировал себя намеренно и годами жил в положении, к которому не был приписан рождением. Позиция снаружи не преимущество и не оправдание; она условие возможности такого текста и одновременно его ограничение. Наблюдатель извне видит то, что носителю видеть незачем, и не видит того, что носителю не приходится замечать, потому что оно ему не мешает. Первое делает описание возможным. Второе задаёт его границу.

У взгляда извне есть и собственная ошибка, которую честнее назвать сразу. Наблюдатель, замечая сигналы поштучно, видит перед собой набор различных признаков — произношение, обращение с вещами, выбор занятий, дистанцию в разговоре — и естественно принимает этот набор за свод правил. Свод правил выглядит выполнимым: правила читаются, заучиваются, воспроизводятся. Эта видимость и есть первый предмет описания, а не его инструмент; она возникает ровно из той позиции, с которой книга написана, и книга обязана держать её на виду, а не пользоваться ею. Носитель кода не видит правил, потому что не имеет к ним доступа; наблюдатель видит признаки и достраивает из них свод правил, которого не существует. Оба описания неполны, и точность достигается не выбором одного из них, а знанием того, чем каждое искажено.

Проверяется такое описание не согласием читателя, а повторяемостью. Механизм, описанный на одном обществе, есть частное наблюдение; тот же механизм, дающий тот же исход в обществах с разным языком, разной религией и противоположным политическим устройством, есть закономерность. Поэтому книга держится на датах и на случаях, в которых обстоятельства расходятся, а результат совпадает. Даты, суммы и обстоятельства в ней сверены; там,

где утверждение спорно, оно опирается на проверяемую ссылку, а не на выразительность формулировки.

Предмет книги называется коротко. Статус не является свойством человека. Он существует только внутри сообщества, которое его признаёт, и потому не перевозится: перевозятся тело, документы и деньги, а признание остаётся на той стороне. Репутация, профессиональный вес, круг, чутьё на своих, умение читать комнату — всё это не имущество, а отношения, и вторая сторона каждого из этих отношений границу не пересекает. То, что состоит из отношений, не перевозится.

Внутри того, что обычно называют одним словом, книга различает три разные вещи. *Средства* — то, чем человек располагает: деньги, имущество, всё, что имеет цену и переводится по курсу. *Положение* — место, которое он занимает по работе, доходу и признанию в профессии. *Принадлежность* — считается ли он своим. Ведут они себя по-разному, и различие в их поведении есть главный сюжет книги. Первое проходит границу целиком. Второе — частично и медленно, ценой, которую можно назвать заранее. Третье не проходит вовсе. Смешению помогает язык: одно слово покрывает все три вещи, и человек, считающий свои приобретения, складывает в одну сумму то, что имеет разный курс. Смешение второго с третьим производит большинство ошибочных расчётов: человек, добившийся положения и не получивший принадлежности, считает себя обманутым, хотя получил ровно то, что было доступно, и ровно за ту цену, которая была объявлена.

Материал книги — не наблюдения над современностью. Крупные группы со статусом периодически оказываются там, где их статус ничего не значит, и это происходит массово, одномоментно и с людьми одинакового старта. Французская знать после 1789 года, русская после 1917-го, немецкая профессура после 1933-го, кубинские специалисты после 1959-го — серия событий, в которых исходы людей одного круга расходятся до противоположных. Внутри такого события видно то, чего не видно в отдельной биографии: какой именно капитал прошёл, какой не прошёл и от чего это зависело. Расхождение исходов внутри одной группы обычно объясняют свойствами людей — один оказался деятельным, другой сломался. Объяснение не выдерживает проверки уже на второй такой группе: расходятся не характеры, а виды имущества, которым люди располагали, и спрос на них по ту сторону границы. Одно и то же образование в одной стране принималось к оплате целиком, в другой не принималось вовсе. Качество, с которым его получили, на это не влияло.

Британия входит сюда как предельный случай — среда, где различие плотнее, чем где-либо в Европе, где оно не обсуждается вслух и где оно последовательно не поддаётся имитации. На британском материале механизм виден в чистом виде, включая случаи, в которых никакой границы не пересекали вовсе: человек может обнулиться, не сходя с места, и это тот же механизм.

В книге нет ни одного примера моложе поколения и ни одного живого узнаваемого человека. Причина двойная. Механизм, описанный на свежем случае, невозможно отличить от разбора этого случая: у читателя есть о нём собственное мнение, и мнение немедленно занимает место наблюдения. Кроме того, исход в этом предмете виден только на длинной дистанции — принадлежность имеет единственный срок, и срок этот измеряется не годами, а сменой поколения, так что судить о результате раньше значит судить о незаконченном процессе. Современность в книге присутствует, но входит она как повторение старого сюжета, а не как источник материала.

Обещание, которое книга даёт, состоит из одного пункта: объяснение устройства и ничего сверх того. В ней нет ни одного указания, что делать. Это не поза и не дефект, а следствие самого предмета. Правило, выученное как правило, исполняется неправильно по определению: сигнал, принятый сознательно ради эффекта, перестаёт быть сигналом и становится сообщением о том, что позиция не является данностью. Книга, содержащая инструкцию по

расшифровке, опровергала бы себя на собственных страницах — и именно этим занят жанр, существующий пять веков и разбираемый здесь как предмет, а не как источник. Пособия по обращению с кодом выходили при дворах итальянского Возрождения, в Лондоне восемнадцатого века, в викторианских гостиных и в журнальном споре пятидесятих годов двадцатого столетия. Их авторы наблюдали точно. Ошибка была не в описании, а в том, что из описания выводили.

Из этого же следует, чего в книге нет. В ней нет сравнения обществ по шкале «лучше — хуже»: различие работает всюду, различаются плотность кода и способ, которым о нём молчат. В ней нет разоблачения: механизм не является чьим-то умыслом, и указывать в нём виноватого — значит потерять сам механизм. В ней нет сочувствия человеку, попавшему в механизм, — не потому, что автор его не испытывает, а потому, что сочувствие немедленно превращает исследование устройства в разбор персоналий, где одна сторона выходит жертвой, другая выскочкой, а закономерность исчезает. Описание работает только при условии, что оно одинаково для приезжего и для местного, для того, у кого получилось, и для того, у кого нет. Симметрия здесь не вежливость, а рабочее требование.

Наконец, книга не утешает. Помощь здесь невозможна по устройству предмета, и текст, который обещал бы её, продавал бы то, чего у него нет. Единственное, что предлагается, — узнавание механизма: возможность увидеть собственный случай как частный вид закономерности с известной структурой, а не как персональную неудачу и не как чужую злую волю. Что с этим делать — вопрос, на который здесь нет ответа, и его отсутствие входит в условия чтения.

Точка наблюдения названа. Дальше книга занимается не наблюдателем, а устройством.

Часть I. Обнуление

Раз в несколько десятилетий крупная группа людей со статусом одновременно оказывается там, где её статус ничего не значит. Французская знать после 1789 года, русская после 1917-го, немецкая профессура после 1933-го, кубинские специалисты после 1959-го. Каждый раз повторяется одно и то же: люди с высоким положением, хорошим образованием и обширными связями обнаруживают, что ни одно из этих обстоятельств не производит на новом месте ожидаемого действия. И каждый раз внутри такой группы, при почти одинаковом старте, исходы расходятся до противоположных — один в течение десяти лет собирает новое положение, другой при тех же вводных не собирает ничего. Расхождение при равном старте означает, что происходящее имеет структуру. Общая беда структуры не имеет.

Расхождение это видно внутри любой из перечисленных волн. Двое покидают страну в один год, с одинаковым образованием, сопоставимыми деньгами и одинаково бесполезным на новом месте титулом. Через десять лет у одного есть дело, имя в профессии и приличный доход, у другого — та же комната и та же временная работа, что и в первый год. Объяснение через личные качества здесь напрашивается и почти всегда ошибочно: слишком часто более деятельный из двоих оказывается тем, у кого не вышло. Объяснение через удачу не объясняет ничего, потому что удача не даёт устойчивых распределений, а распределения здесь устойчивы — от волны к волне выигрывают одни и те же типы капитала.

Структура эта держится на одном свойстве статуса: он существует только там, где его признают. Не в человеке, не в его биографии, не в бумагах — в чужих головах, и притом в головах определённых людей, находящихся в определённом месте. Отсюда его поведение: полная ценность внутри зоны признания и ноль за её пределами, без промежуточных значений и без периода обесценивания.

Из этого свойства следует и второе. Если разобрать то, что человек называет собой, окажется, что перечень состоит по большей части не из его качеств, а из отношений с другими людьми: репутация, вес слова, круг, право высказываться, понимание с полуслова. Отношение всегда имеет две стороны, а границу пересекает одна. Вторая остаётся там, где была.

Третье. Разные вещи из этого перечня ведут себя по-разному. Деньги проходят целиком, квалификация — частично, признание квалификации — почти никак, принадлежность к своим — никак. Скорость прохождения не является свойством человека и не зависит от того, насколько он хорош: её определяет спрос на принимающей стороне. Это значит, что потери поддаются расчёту, причём расчёту заранее.

Наконец, четвёртое. Страдание в этом сюжете производится не бедностью. Оно производится разрывом между тем, кем человек себя знает, и тем, кем его считают, — и потому достигает максимума не у самых бедных, а у тех, кто помнит себя другим отчётливее всего.

Валюта за пределами зоны хождения не подделана и не отнята. Она просто не принимается.

Глава 1. Багаж, который не долетел

Человек, потерявший положение при переезде, описывает случившееся как несправедливость по отношению к себе. Формулировки устойчивы: не оценили, не разобрались, не приняли во внимание. За ними стоит представление о том, что нечто, принадлежавшее ему, было у него отобрано или, по меньшей мере, не возвращено.

Но ничего не отнималось. Если перечислить то, что он называет утраченным, — профессиональный вес, репутацию, круг, привычку к тому, что его слово имеет цену, — выяснится, что ни один пункт этого списка никогда не находился у него в собственности. Всё перечисленное описывает не его, а его отношения с людьми, которые остались на той стороне.

И совершается это не в кабинете чиновника и не в момент принятия решения о переезде. Оно совершается в момент, когда собеседник слышит первое слово, — раньше, чем произнесена вторая фраза, и без чьего-либо участия.

Чемоданы прилетают. Содержимое остаётся.

1.1. Князя за рулём

Париж, вторая половина двадцатых. Русских шофёров такси в городе несколько тысяч; у крупных компаний есть свои русские гаражи, свои очереди на смену, свои конторы, где объясняются по-русски. Среди водителей — офицеры гвардейских полков, выпускники Пажеского корпуса, юристы, землевладельцы, люди с титулами. Существует шофёрская взаимопомощь, существует профессиональный союз русских шофёров, издаётся справочная литература для тех, кто сдаёт экзамен на право работать за рулём. Это не единичный курьёз и не анекдот, попавший в мемуары: это массовое занятие целого слоя, оказавшегося одновременно в одной профессии, которой никто из них не выбирал.

Путь в неё был у всех примерно один. Разрешение на работу за рулём требовало экзамена — знание правил, знание города, умение объясниться с пассажиром и с полицейским. Город учили по плану, улицами и перекрёстками, как учат чужой алфавит: сорок лет прожив в одной столице, человек в течение нескольких недель заучивал наизусть другую. Смена началась вечером и заканчивалась под утро, машина сдавалась следующему, выручка делилась с компанией. Занятие выбирали не потому, что оно было привлекательным, а потому, что оно было доступным: оно не требовало ни подтверждения диплома, ни рекомендаций, ни владения языком сверх десятка фраз, ни знакомств — то есть не требовало ровно ничего из того, чего приезжий предъявить не мог.

Сцена известна настолько, что перестала осознаваться как сцена. Князь за баранкой парижского такси входит в общий запас готовых картинок вместе с бывшей балериной, преподающей танцы, и полковником, служащим швейцаром. Картинка узнаётся мгновенно — и потому не рассматривается. Известность работает здесь против понимания: у наблюдателя есть готовая эмоция для этого изображения, эмоция срабатывает раньше внимания, и на этом рассмотрение заканчивается. Из образа вынут механизм, осталась рамка с подписью «утрата».

Картинкой стало именно такси, а не завод, куда той же эмиграции ушло больше. Пара «титул и баранка» держится на двух знаках, каждый из которых опознаётся без пояснений и в один приём: слово «князь» и вид человека за рулём. Их столкновение читается мгновенно и не требует от читающего никакой работы — а всё, что даётся без работы, охотно становится общим местом. Заводской цех такого столкновения не даёт: он требует знать, кто именно стоит у станка, то есть требует биографии, то есть требует времени. Клише отбирает не самое частое, а самое быстро считываемое.

Дальше происходит обычное: сцена передаётся из книги в книгу в готовом виде, ей не нужны подтверждения, но и вопросов к ней не возникает. Сто лет её пересказывают как эмблему определённого рода несчастья, и за сто лет её ни разу не разобрали как случай — то есть не спросили, что именно в этом положении перестало работать и почему.

Между тем это лучшее свидетельство обнуления, какое существует. Оно массовое, документированное, ограниченное во времени и месте, с известным составом участников и известным исходным положением каждого. Естественный эксперимент такого качества история устраивает нечасто. Вернуть сцене статус наблюдения значит перестать смотреть на неё как на иллюстрацию к чувству и начать смотреть как на данные.

Первое, что при таком взгляде обнаруживается: поражает здесь не бедность. Парижский таксист двадцатых годов зарабатывает, и зарабатывает не худшим образом — работа тяжёлая, сменная, но оплачиваемая, с ежедневной выручкой и без унижения просьбой. Многие из тех, кто пришёл в такси, к тридцатым годам имели жильё, семью и некоторую устойчивость. По имущественному положению шофёр стоял выше рабочего на том же заводе Рено. Если бы дело было в деньгах, сюжет закончился бы на первой странице: люди потеряли состояния и стали зарабатывать меньше — история обыкновенная и не требующая объяснений.

Поражает несоответствие. Человек находится в положении, которое ничего не сообщает о том, кем он был, и сообщать не может. Форма занятия устроена так, что предъявляет ровно один факт: этот человек водит машину за деньги. Всё остальное — образование, происхождение, служба, круг, язык, которым он владеет лучше половины пассажиров, — находится вне поля зрения и не имеет способа в него попасть. Пассажир, садящийся в машину, не совершает ошибки. Он считывает то, что предъявлено, и считывает верно. У него нет ни возможности, ни повода запрашивать дополнительные сведения; более того, если такие сведения будут ему сообщены, они не изменят считывания, а лягут на него сверху как курьёз.

Занятие устроено так, что иначе и быть не может. Обмен между водителем и пассажиром исчерпывается адресом и суммой, длится минуты и не предполагает вопроса о том, кто здесь кто. Такое положение анонимно не по недосмотру, а по конструкции: оно рассчитано на то, чтобы человек в нём был взаимозаменяем, и работает тем лучше, чем полнее эта взаимозаменяемость соблюдена. В прежней жизни всё было устроено обратным образом. Там человека предъявляли раньше, чем он входил в комнату: имя, полк, дом, родство, круг — сведения поступали к собеседнику до всякого разговора и определяли его тон. Разница не в уважении и не в вежливости, а в том, что первая система сведения передавала, а вторая их не передаёт вовсе.

Здесь и проходит различие. Утрачено не имущество — утрачено признание, и это две разные утраты, живущие по разным законам. Имущество имеет цену, поддаётся описи, может быть частично возмещено, а его отсутствие переживается как нехватка чего-то конкретного. С признанием не проходит ни одна из этих операций, и по одной причине: оно вообще не находилось в руках у того, кто его лишился. Оно находилось в головах людей, оставшихся в Петербурге, Москве и Киеве, — и там, кстати говоря, никуда не делось: те, кто помнил, продолжали помнить. Просто их не было в парижском такси.

Крайняя точка этого слоя — Феликс Юсупов, человек, чьё состояние до 1917 года входило в число крупнейших в империи и по некоторым оценкам превосходило состояние правящей семьи. В Париже его имя сохранило известность полностью и конвертировалось при этом почти исключительно в судебные тяжбы и в интерес, который платить не обязан. Если обнуление настигает и того, у кого исходный капитал был предельным, речь идёт не о степени состоятельности и не о том, что кто-то недостаточно много вывез. Речь идёт о свойстве самой величины.

К парижской сцене сводятся все позднейшие повторения сюжета. Каждая следующая волна воспроизводит её с новыми именами и в новых декорациях: немецкие профессора,

читавшие в Стамбуле курсы на языке, которого не знали их слушатели; кубинские врачи, работавшие в Майами санитарями до подтверждения диплома; инженеры, программисты и юристы позднейших десятилетий, чьи сюжеты отличаются от парижского техникой перемещения и не отличаются устройством. Материал, взятый из вчерашнего дня, ещё не отделён от обстоятельств и не даёт увидеть закономерность: он весь состоит из подробностей — какая страна, какая виза, какой год, какая отрасль, — и подробности заслоняют устройство ровно до тех пор, пока не перестанут быть новостями. Парижское такси отстоит достаточно далеко, чтобы подробности осыпались и осталась конструкция.

Парижский случай не самый ранний. Он и не самый поздний. Он самый разработанный: описан изнутри и снаружи, укладывается в обозримый отрезок времени, имеет начало, конец и статистику. На нём удобно считать — при том, что считать пока нечем.

Картинка узнава. Что именно на ней потеряно — ещё не названо.

1.2. Что человек считает своим

С 1922 года у человека без гражданства появляется документ — сертификат, введённый по инициативе верховного комиссара Лиги Наций по делам беженцев и получивший его имя. Нансеновский паспорт содержит фамилию и имя, дату и место рождения, сведения о прежнем подданстве, приметы, иногда фотографию и отпечаток пальца. Он удостоверяет, что предъявитель существует и что он именно тот, кем себя называет. Больше он не удостоверяет ничего, и графы, в которую можно было бы вписать остальное, в нём не предусмотрено — не по недосмотру составителей, а потому что вписывать туда нечего: ни одно из остальных обстоятельств не имеет формы, пригодной для записи.

Документ этот, надо сказать, был удачным изобретением и решал ровно ту задачу, для которой создавался: он позволял пересечь границу и оформить пребывание человеку, за которого не отвечало ни одно государство. Права на работу он сам по себе не давал, права на возвращение — тем более, и в разных странах принимался по-разному. Но объём того, что он в принципе способен передать, задан не щедростью составителей, а природой передаваемого. Имя, рост, цвет глаз и год рождения переносятся через границу вместе с их носителем, потому что находятся при нём. Всё, что при нём не находится, не переносится ни в каком документе — и лучшая бумага, какую придумала международная организация в двадцатом веке, здесь бессильна не по слабости, а по устройству предмета.

Между тем остальное человек знает поимённо. Если попросить его перечислить, что он утратил, список складывается быстро и почти всегда в одном порядке. Профессия. Репутация — то, что о нём известно людям, которые его не встречали. Круг: те, кому можно позвонить, и те, кто позвонит сам. Привычка быть понятым с полуслова. Вес слова в разговоре — свойство, при котором сказанное принимается всерьёз до того, как проверено. Право высказываться по определённым вопросам и молчаливое отсутствие такого права по другим. Знание, к кому обратиться, если понадобится то, чего не купишь. Наконец, ощущение уместности собственного присутствия в комнате — самое неопределимое и самое осязаемое из всего перечисленного.

Список стоит записать так, как человек назвал бы его сам: без оценки, по пунктам, в виде описи. Опись — правильная форма, потому что предполагает собственника. И как только она составлена, обнаруживается, что собственника у неё нет ни на одном пункте.

Репутация существует в чужих головах. В своей голове она не помещается: то, что человек думает о себе сам, называется иначе и никакого действия на окружающих не производит. Профессия — не умение как таковое, а признание занятия со стороны тех, кто способен его оценить и уполномочен оценивать; врач есть врач постольку, поскольку существуют коллегия, диплом, направляющие к нему пациенты и другие врачи, соглашающиеся считать его своим.

Круг состоит из людей, а не из качеств его участника: он описывает не человека, а расположение вокруг него. Вес слова целиком принадлежит слушающему — говорящий не может добавить своим словам веса, и попытка это сделать производит обратное действие. Понимание с полуслова требует второй половины слова, произносимой кем-то другим; в одиночку эта операция не выполняется вовсе. Ощущение уместности есть не что иное, как отсутствие сигналов о неуместности, поступающих извне.

Два пункта заслуживают отдельной проверки, потому что выглядят убедительнее прочих. Право высказываться по определённым вопросам ощущается как свойство знающего человека, но состоит из молчаливого согласия остальных считать его высказывание уместным; это согласие не выдаётся на руки и не сопровождает своего обладателя. И знание, к кому обратиться, — знание, накопленное годами и хранящееся в голове, то есть по всем признакам собственное, — на поверку оказывается наполовину пустым: голова помнит имена, обязательства держатся на другом конце, а человек, помнящий, к кому надо идти в чужом городе, не знает там никого.

Собственным в этом списке остаётся немного: знание, навык, память. Всё, что помещается внутри головы и тела и работает без чужого участия. Хирург сохраняет руки и то, что в них заложено. Пианист сохраняет технику. Юрист сохраняет способность разбирать сложный текст и находить в нём слабое место. Список не пуст — но он в разы короче исходного.

Возражение здесь напрашивается, и оно сильнее, чем кажется на первый взгляд. Перечисленное, скажут, вовсе не отношения, а личные качества, честно нажитые. Профессия есть квалификация, а квалификация приобретается годами работы и никем не подарена. Репутация не выдана в готовом виде — она заслужена, и заслужена конкретными делами, которые были сделаны и которых уже не отменить. Круг не свалился с неба: его собирали десятилетиями, отбирая людей и удерживая связи усилием. Всё это, скажут, произведено самим человеком, а произведённое человеком принадлежит ему.

Возражение верно ровно наполовину, и различие проходит по этой половине. Квалификация действительно остаётся при человеке. Хирург, потерявший больницу, не разучился оперировать; он не стал хуже за время перелёта. Но квалификация и признание квалификации — две разные вещи, и вторая никогда не находилась внутри первой. Сделанные дела не отменяются, однако дело существует в двух видах: как факт и как известность факта. Факт остаётся, известность остаётся там, где были свидетели. Связи, собранные усилием, точно так же не отменяются — они просто требуют двоих, и второй из этих двоих находится за границей, живёт своей жизнью и через несколько лет перестаёт быть доступен даже для того, кто оставался с ним рядом. Усилие, вложенное в отношение, не превращает отношение в собственность. Оно и не может: собственность на человека давно отменена, а всё перечисленное состоит из людей.

Отсюда механика того, что происходит при переезде. То, что состоит из отношений, не перевозится, потому что перевозится всегда одна сторона. Вторая осталась там. Отношение при этом не портится, не разрывается и никем не отменяется — оно просто перестаёт существовать за отсутствием второго участника, как не существует рукопожатия одной рукой. Именно поэтому точная формулировка звучит непривычно: репутация не потеряна, она осталась на той стороне. Проверить это легко — при возвращении она обнаруживается на месте, немного устаревшая, но действующая, и люди, которые помнили, продолжают помнить. Ничего не пропало. Просто оно не здесь.

У события, устроенного таким образом, нет ни виновника, ни даты. Никто ничего не отнимал; не существует ни распоряжения, ни конфискации, ни момента, в который что-то перешло из рук в руки. Пограничник, ставящий отметку, не изымает репутацию — у него нет для этого ни полномочий, ни технической возможности. Обнуление не имеет вида происшествия и потому не поддаётся регистрации в тот момент, когда совершается. Оно обнаруживается позже и косвенно: при первой попытке воспользоваться тем, чего уже нет. Человек называет своё имя, ожидая, что оно что-то сообщит, и наблюдает, что оно не сообщает ничего.

Просит о том, о чём прежде просил без затруднений, — и обнаруживает, что просьба не имеет прежней силы. Каждый такой случай выглядит частным недоразумением, и лишь их накопление даёт понять, что изменилось не отдельное обстоятельство, а величина в основании счёта.

Отсюда специфическая трудность. Потерю невозможно предъявить, оспорить или оплакать в обычном порядке, потому что формально ничего не случилось. Нет ущерба, который можно оценить, нет ответчика, к которому можно обратиться, нет даже права на сочувствие — на вопрос, что произошло, честный ответ звучит как «ничего». Опись составлена, все пункты на месте, ни один не пропал — и ни один из них не принадлежал составителю.

Список при этом неоднороден. Часть его исчезает сразу и полностью, часть не исчезает вовсе, часть ведёт себя посередине: слабеет, но не обнуляется. Пока всё это свалено в одну кучу под общим словом «утраченное», и куча выглядит цельной, как выглядела цельной парижская сцена. Различие пунктов по судьбе — единственное, что делает происходящее исчислимым.

1.3. Средства, положение, принадлежность

Париж, 1921 год, лавка скупщика. Через прилавок переходит нитка жемчуга, вывезенная в подкладке пальто, и обратно переходят франки. Продавец не спрашивает, кем был владелец: качество жемчуга проверяется на месте, оно не зависит от происхождения и не улучшается от титула. Сделка занимает четверть часа и совершается полностью — ни одна доля стоимости не потеряна на границе. В том же году тот же человек предъявляет диплом столичного университета и рекомендацию, подписанную именем, известным всей прежней стране, и не получает за них ничего: ни места, ни собеседования, ни отказа, который стоило бы обжаловать.

Одно и то же имущество, один и тот же владелец, один и тот же город — и два противоположных исхода. Значит, под общим словом лежат разные вещи, и различать их придётся раньше, чем считать.

Первое — *средства*: то, чем человек располагает. Деньги, вещи, недвижимость, драгоценности; всё, что имеет вид и цену независимо от того, кто это принёс. Средства не требуют от принимающей стороны никакого знания о владельце — их проверяют напрямую, и проверка занимает минуты.

Второе — *положение*: какое место человек занимает по работе, доходу и признанию. Кем он числится, что делает, сколько получает, как называется его должность и насколько его занятие уважают те, кто с ним не знаком. Положение не носят при себе — его занимают, и занимают в конкретном обществе, которое ведёт свой счёт местам. В парижском гараже это видно буквально: шофёр, дневной рабочий на автомобильном заводе, преподаватель языка в частном доме и служащий русской конторы занимают четыре разных положения, различимых для всякого француза, — и все четыре не имеют отношения к тому, кем эти люди были десятью годами раньше. Счёт мест ведётся на месте, по здешним правилам и без учёта прежних записей.

Третье — *принадлежность*: считается ли человек своим. Не уважают ли его, не ценят ли его работу, а именно относят ли его без размышления к тем, кто здесь не гость. Принадлежность не имеет ни оклада, ни должности, ни документа; её невозможно предъявить, потому что она вообще не находится у того, к кому относится. Она находится в других — в том, как они его называют между собой и в чьё общество зовут без предварительного объяснения, кто он такой. В Париже двадцатых её отсутствие измерялось не бедностью, а составом гостей: русский дом принимал русских, французский принимал французов, и десятилетия соседства меняли этот состав медленнее, чем менялись доходы обеих сторон.

При эти вещи обычно называют одним словом, и в обычной жизни смешение не мешает: там, где человек прожил всю жизнь, они срослись и меняются вместе. Разъединяет их граница. Средства пересекают её целиком — жемчуг остаётся жемчугом, счёт остаётся счётом, и никакая таможня не изменит их номинала. Положение пересекает частично и медленно: часть его

подтверждается, часть подлежит проверке заново, часть не подтверждается никогда, и на восстановление уходят годы, измеряемые не терпением, а сроками процедур. Принадлежность не пересекает вовсе. Не медленно, не частично, не при особых условиях — не пересекает.

Порядок этот не случаен, и объясняется он способом проверки. Средства проверяются напрямую: жемчуг взвешивают, металл пробуют, счёт подтверждает банк, и никакого знания о владельце для этого не требуется — проверяющему достаточно самой вещи. Положение проверяется через учреждения: диплом подтверждает комиссия, право практиковать выдаёт коллегия, стаж удостоверяют бумаги. Учреждения существуют и на новом месте, процедуры описаны, сроки известны — оттого положение и проходит, хотя медленно и с потерями на несовпадение правил. Принадлежность не проверяется вообще. Её не устанавливают, а узнают — мгновенно, без процедуры и без критерия, который можно предъявить. Там, где нет процедуры, нет и способа её пройти; отсутствие ворот надёжнее любого замка.

Утверждение это пока не доказано: доля, в которой проходит каждый капитал, а также сроки и цена того, что всё-таки покупается, требуют отдельного счёта. Различать при этом необходимо уже сейчас — без различения нельзя прочесть ни один случай, включая уже приведённый. Пока три вещи называются одним словом, любая история переезда выглядит как история потери статуса вообще, и всё в ней объясняется одинаково — то есть никак.

Парижский случай кажется цельным именно потому, что там потеряны все три сразу. Имения остались за новой границей, счета в русских банках перестали существовать вместе с банками, драгоценности разошлись через скупщиков за несколько лет — средства обнулились. Служба, чин, право заниматься тем, чем занимался, — обнулились вместе с государством, их выдавшим. Принадлежность к слою, который узнавал своих по десятку признаков, обнулилась вместе со слоем: тот, кто узнавал, сидит в соседнем гараже и сам не узнан никем. Разделять нечего, утрата читается как одно событие, у неё одна дата и одна причина.

Эта цельность делает сцену удобным входом. Она же делает её нетипичной. Полное обнуление всех трёх величин — редкий случай, требующий революции, войны или чего-то соразмерного; обычно происходит иначе, и происходящее приходится разбирать по частям, потому что части ведут себя по-разному и иногда противоположно.

Обычный переезд устроен сложнее и потому хуже читается. Средства чаще всего сохраняются целиком или почти целиком: счёт переводится, накопления никуда не деваются, часть имущества продаётся заранее и превращается в те же деньги. Положение проседает и восстанавливается — с потерей нескольких лет и обыкновенно не до прежней высоты, но восстанавливается измеримо, и об этой части легко говорить, потому что она выражается в должностях и суммах. Принадлежность не меняется вовсе: её как не было, так и нет, и отсутствие её не проседает и не восстанавливается, а держится ровной линией. Три кривые расходятся, и человек, привыкший читать их как одну, получает картину, в которой всё вроде бы наладилось и одновременно ничего не наладилось. Парижская сцена этой трудности не создаёт: там все три линии лежат на нуле, и оттого она годится как вход и не годится как образец.

Есть случаи, где одно сохранилось, а другое нет, и там различие становится решающим. Герцен, добившийся через банкира, чтобы арестованное в России состояние было выплачено ему за границей, — средства при нём полностью, а вес его слова в европейской политике при этом остаётся весом эмигранта, обращающегося к соотечественникам через границу. Клайв, привёзший из Индии огромные деньги, купивший поместья и места в парламенте и до конца оставшийся «набобом», — случай, где средства и положение куплены, а принадлежность не куплена, причём никакой границы он не пересекал. Мария Павловна, основавшая вышивальный дом и работавшая с первыми парижскими модельерами, — случай, где то, что не переносится как принадлежность, оказалось вполне переносимым как товар. Набоков, двадцать лет проживший в бедности и получивший известность в пятьдесят шесть, — случай, где положе-

ние восстановлено целиком при принадлежности, равной нулю до конца жизни. Четыре разные судьбы раскладываются одним и тем же инструментом.

Смещение второго с третьим есть источник большинства ошибочных расчётов. Человек, добившийся положения и не получивший принадлежности, считает себя обманутым: он выполнил всё, что требовалось, получил должность, доход и уважение коллег и обнаружил, что чего-то по-прежнему нет — того, чего не назвать и не потребовать. Ощущение обмана здесь совершенно естественно и совершенно ошибочно. Он получил ровно то, что было доступно; неполученное не входило в сделку, и никто ему его не обещал — обещание он составил себе сам, соединив две разные вещи в одном слове.

Соединение это происходит естественно и по уважительной причине. Там, где человек вырос, две величины действительно шли вместе: место приносило круг, круг подтверждал место, и опыт целой жизни говорил, что второе следует из первого само собой. Правило было верным — но верным внутри одной зоны, где его не на чем было проверить. Перевезённое через границу, оно продолжает работать в голове владельца и не работает больше нигде. Отсюда специфическая последовательность: чем успешнее человек в положении, тем отчётливее становится отсутствие третьего. Пока положение низкое, обе величины отсутствуют вместе и объясняются одинаково — не признают, потому что нечего признавать. Как только положение выстроено, объяснение исчерпано, а отсутствие остаётся, и счёт предъявляется в полном объёме.

Ошибка при этом совершается не в усилии и не в выборе средств. Усилие может быть безупречным, средства — оптимальными, результат — максимальным из возможных. Ошибка совершается в предмете ожидания: человек считает недостаточным то, что является полным. Отсюда своеобразная закономерность, которую видно на любой волне: недовольство исходом слабо связано с величиной достигнутого и сильно — с тем, что человек полагал достижимым. Тот, кто рассчитывал на положение, получает положение и считает счёт закрытым. Тот, кто рассчитывал на принадлежность, получает то же самое положение и считает себя проигравшим — при одинаковом результате.

Различение это служебно только на вид. Оно определяет, чем измерять исход, — а от того, чем измеряют, зависит, кто окажется победителем.

1.4. Валюта, не имеющая хождения

Среди вещей, вывезенных в 1919 и 1920 годах, часто попадались деньги — пачки кредитных билетов с двуглавым орлом, аккуратно сложенные и не тронутые в дороге. Бумага была превосходной: водяные знаки, тонкая гравировка, подписи управляющего и кассира, номинал, за которым ещё недавно стояло золото. Несколько лет эти билеты чего-то стоили: на берлинской бирже ими торговали, в них верили, их скупали в расчёте на перемену. Потом перемена не наступила, и торговля прекратилась. Билеты остались в ящиках комодов — не порванные, не изъятые, не подделанные, просто ни на что не годные. Тот же ящик у французских семей был занят облигациями русских займов, купленными до войны и аннулированными в 1918-м: полтора миллиона держателей, десятилетия хранения, купоны, которые некому предъявить. Ни один из этих людей не был обманут в момент покупки. Все они держали в руках подлинное обязательство несуществующего должника.

Статус ведёт себя так же. Он сохраняет полную ценность в зоне хождения и обнуляется за её пределами. Дальше это берётся буквально: то, что верно для денег вне зоны обращения, оказывается верно для репутации, чина и профессионального веса без поправок, которые пришлось бы оговаривать.

У такого способа счёта есть одно преимущество перед привычным. Разговор о статусе обыкновенно ведётся в словах достоинства и признания, то есть в словах, предполагающих

чью-то правоту: кто-то оценил верно, кто-то неверно, кому-то воздали по заслугам, кому-то нет. Денежный язык этого предположения не содержит. У валюты нет заслуг, и вопрос о справедливости курса не задают: курс не бывает справедливым или несправедливым, он бывает таким-то на такой-то день. Перевод разговора в этот регистр убирает из него сторону, которую следовало бы обвинить, — а вместе с ней и большую часть шума.

Из образа сразу следуют три отрицания.

Купюра не подделана. Статус был настоящим: чин действительно был получен, диплом выдан, репутация заслужена работой, которая действительно была сделана. Ни один эпизод биографии не становится ложным оттого, что перестал приниматься. Версия о самозванстве, которая иногда приходит в голову самому владельцу в дурную минуту, ошибочна не из деликатности, а фактически.

Купюра не отнята. Никто ничего не изымал, не отменял и не аннулировал персонально; человек, у которого не приняли, не был лишён — он был не признан, и разница между этими двумя действиями та же, что между конфискацией и отказом в обмене. У лишения есть исполнитель. У отказа в обмене исполнителя нет.

Купюра не обесценилась по качеству. Там, откуда человек приехал, она стоит ровно столько же, сколько стоила, и это проверяется в один приём — старым знакомством, телефонным разговором, приездом. Ничто в самой величине не изменилось. Изменилась не купюра и не её владелец, а зона.

Каждое из трёх отрицаний отсекает объяснение, которое владелец предлагает себе сам, и предлагает в определённом порядке. Сначала — что всё прежнее было преувеличением и держалось на снисходительности окружающих. Затем — что происходящее есть чья-то несправедливость, у которой должен быть адрес. Наконец — самое стойкое: что он попросту устарел, отстал, потерял форму за годы, ушедшие на переезд и на устройство. Последняя версия убедительна тем, что содержит долю правды: навык без применения действительно тупеет, и несколько лет вне профессии стоят дорого. Но проверяется она просто. Если бы дело было в качестве, снижение было бы постепенным и одинаковым во всех местах. Оно же наступает разом, в день пересечения границы, когда никакой утраты формы ещё не произошло, — и не наступает при возвращении, когда форма уже действительно утрачена.

Зона хождения — это сообщество, признающее валюту. Не территория и не государство, хотя с ними она чаще всего совпадает: сообщество живёт где-то, и границы его расселения выглядят как границы на карте. Совпадение, однако, не обязательно: зон бывает несколько внутри одной страны, и валюта, ходящая в одной, не ходит в соседней — имя, весомое в столичном профессиональном кругу, ничего не сообщает в двухстах километрах от него, и наоборот — вес, накопленный в провинциальном городе, не переезжает в столицу вместе с его обладателем. Возможен и случай, где зоны разделены не расстоянием вовсе, а чем-то другим, и человек переходит границу, не выходя из города.

Границы эти проходят и по занятиям. Имя, весомое среди хирургов, не имеет хождения среди юристов того же города — не потому, что юристы дурно относятся к хирургии, а потому, что не располагают средством оценки: им нечем проверить, крупный это хирург или средний, и в отсутствие проверки величина обращается в ноль. Точно так же слово, весящее в цехе, ничего не весит в дирекции, и наоборот. Всякий, кто менял отрасль в середине жизни, знает эту операцию по опыту и обыкновенно не связывает её с переездом, хотя устройство здесь одно. Отсюда первое указание на то, что механизм вообще не требует переезда: обнуление наступает при смене зоны, а смена зоны и пересечение государственной границы — совпадающие, но разные события. Это будет показано на людях, никуда не уезжавших.

Из механизма следует переживание, которое стоит назвать точно, потому что его обычно называют неточно. Купюра настоящая, а на неё ничего не дают. Это не обида и не унижение — это сбой очевидности. Человек предъявляет то, что всю жизнь работало безотказно, и

наблюдает отсутствие реакции: не отказ, не спор, не возражение, а именно отсутствие, ровное и вежливое. Собеседник любезен, разговор продолжается, ничего не произошло. Названо имя, названа должность, названо учреждение, при упоминании которого дома менялся тон, — и тон не меняется. Ощущение при этом ближе всего к тому, какое бывает, когда нажатая кнопка не срабатывает: не боль и не гнев, а короткая остановка, в которой действие повторяют, чтобы проверить.

Проверяют обычно дважды. В первый раз человек считает, что был недостаточно понят, и повторяет то же самое подробнее: добавляет обстоятельств, называет ещё одно учреждение, поясняет, что означала прежняя должность в тамошней системе. Подробность не помогает, а мешает — пояснение занимает время и требует от собеседника внимания, которого предмет для него не стоит. Во второй раз человек пробует сослаться на кого-то, кто мог бы подтвердить, и обнаруживает, что подтверждающий находится вне досягаемости и что его имя нуждается в таком же пояснении. После второй попытки предъявление прекращается — не по решению, а само, как прекращают жать на кнопку, про которую поняли, что она ни к чему не подключена.

Абсурд здесь принадлежит положению дел, а не наблюдателю. Обе стороны ведут себя безупречно: приезжий предъявляет подлинное, принимающий добросовестно не узнаёт предъявленного, и оба правы. Никакой ошибки в системе нет — система работает исправно и именно поэтому не платит.

Из образа вырастает словарь, которым дальше и ведётся счёт. Курс — соотношение, в котором одна величина обменивается на другую на конкретной стороне; конвертация — сама операция обмена, всегда с потерями и всегда занимающая время. Проходимостью называется доля величины, пересекающая границу зоны, обнулением — то, что происходит с остальной долей, причём сразу и без промежуточных значений. Две последние величины отмеряют время и цену: срок восстановления — за сколько обнулённое отстраивается на новом месте, если оно вообще подлежит отстройке, и издержка — что потрачено на конвертацию и не возвращается ни при каком исходе.

Слова эти образуют счётную систему, в которой у каждой величины есть значение, и в которой становится видно, что часть значений равна нулю не по обстоятельствам, а по определению. Считать в такой системе неутешительно — зато можно.

Что до того, где именно совершается отказ в приёме: он совершается быстрее, чем успевает пройти сделка.

1.5. Акцент как обнуление

В Книге Судей описана процедура проверки на переправе через Иордан. Задержанному предлагали произнести одно слово. Различие между двумя произношениями первого звука было единственным вопросом, и от ответа зависела жизнь: свои выговаривали так, чужие иначе, и никакое заявление о принадлежности не принималось во внимание. Устроена она была безупречно, потому что имела дело не с намерением и не со сведениями о себе, а с тем, чем человек не управляет. Слово с тех пор вошло в языки как обозначение опознавательного признака, и в этом качестве оно точнее, чем кажется: описан не эпизод жестокости, а работающий механизм различения, самый быстрый из существующих.

Позднейшие его применения обходились без реки. В Палермо в 1282 году, при избиении французов, тех, кто выдавал себя за местных, заставляли выговорить обиходное слово со звуком, которого во французском не было; француз подставлял привычный, и подстановки было достаточно. Различие между этими двумя случаями и обычным разговором в чужой стране двойное: в цене вопроса и в том, что там опознание было пущено в дело намеренно, а здесь работает само. Операция при этом одна: одно произнесённое слово сообщает о говорящем больше, чем всё, что он готов о себе рассказать.

Сообщает оно при этом не то. Первое слово опережает биографию — не в переносном смысле, а буквально, по порядку событий: к моменту, когда человек мог бы что-то о себе сообщить, о нём уже всё решено. Обыденное представление о разговоре предполагает обратный порядок — сначала выслушали, потом составили мнение, — и этот порядок ошибочен. Мнение составлено до первой паузы. Всё дальнейшее только уточняет его.

Различение, объясняющее эту очерёдность, было сформулировано социологом Ирвингом Гофманом в работе о том, как человек предьявляет себя другим. Всякий участник разговора производит два потока сведений о себе: то, что он сообщает намеренно, и то, что выдаёт помимо намерения. Первый поток состоит из слов и поддаётся управлению — его можно готовить, репетировать, править по ходу. Второй состоит из того, чем слова произносятся, и управлению не поддаётся, потому что не осознаётся самим говорящим. Слушатель, что существенно, доверяет второму потоку больше, чем первому, и по вполне разумной причине: намеренное сообщение можно подделать, произвольное — гораздо труднее. Речь, взятая как звук, а не как содержание, целиком принадлежит второму потоку. Отсюда её преимущество в скорости и её неотразимость: она сообщает раньше, и ей верят охотнее.

Собеседник за долю секунды помещает говорящего в одну из имеющихся у него ячеек. Ячейки эти не изобретаются на месте: их набор сложился у слушателя за всю жизнь, он невелик и других у него нет. Категоризация идёт по признакам, которые сам категоризирующий не назовёт, если спросить: не по правильности речи и даже не по словарю, а по мелодике, по темпу, по месту ударения внутри фразы, по длительности гласных, по тому, какие звуки даются легко, а какие требуют усилия и оттого выходят чуть отчётливее нужного. Человек, безупречно владеющий грамматикой и обладающий большим запасом слов, опознаётся так же быстро, как человек, говорящий с трудом: словарь и грамматика лежат в другом слое и в опознании не участвуют.

Ячейка выбирается из здешнего набора, и это решает исход. У слушателя нет ячейки для того, кем говорящий был на самом деле, — такой ячейки не существует в его системе, потому что не существовало соответствующего опыта. Поэтому размещение производится по ближайшему из доступного, и результат может не иметь ни малейшего отношения к исходной величине: там, где дома читалось положение, здесь читается происхождение, там, где читалось образование, — читается страна.

Отказ в приёме выносится не эмитентом и не владельцем, а той стороной, которая принимает: обнуление совершается в точке предьявления и производится тем, кто предьявленное смотрит. Дома купюру брали не глядя — не потому, что проверка была снисходительной, а потому что проверять было нечего: она узнавалась. Здесь её тоже узнают, и узнают безошибочно — как незнакомую. Момент узнавания и есть момент обнуления, и потому у последнего нет ни даты, ни бумаги: оно происходит каждый раз заново, при каждом первом разговоре, и повторяется столько раз, сколько раз человек открывает рот при новом собеседнике.

Из ячейки биография не вытаскивает. Это, пожалуй, самое неочевидное свойство механизма и самое дорогое в последствиях. Послужной список, изложенный после размещения, не отменяет его, а достраивается к нему: сведения читаются как сведения о человеке из этой ячейки, и чем они внушительнее, тем скорее производят впечатление любопытной подробности. Прежняя должность становится не аргументом, а деталью биографии, вроде необычного хобби. Так возникает изматывающий опыт объяснений, ничего не меняющих: объяснение принимается вежливо, выслушивается до конца, иногда вызывает интерес — и оставляет размещение ровно там, где оно было.

Видно это по одному признаку, который трудно не заметить и легко истолковать неверно. После рассказа о прежней работе собеседник обыкновенно говорит что-нибудь одобрительное и переводит разговор — не из невнимания, а потому что сообщённое не требует от него никаких действий. Сведения о положении обычно чем-то обязывают: заставляют пересмотреть

тон, что-то предложить, куда-то направить. Здесь они не обязывают ничем, так как относятся к системе, в которой у слушателя нет ни обязательств, ни интересов, ни способа проверить сказанное. Одобрение в такой ситуации есть форма вежливого неучастия. Оно же — самый надёжный признак того, что размещение состоялось и пересматриваться не будет.

Хуже того, повторное объяснение работает против объясняющего. Настойчивость, с которой человек сообщает о своём прежнем положении, сама является сведением, и сведение это читается однозначно: положение, о котором приходится сообщать, не является данностью. Тот, у кого оно есть, его не предъявляет — не по скромности, а потому что не имеет повода. Механизм этот работает далеко за пределами разговоров с приезжими: он включается автоматически, и усилие, направленное на исправление размещения, размещение подтверждает.

Всё это не является чьим-либо решением. Слушатель не выбирал считывать, не принимал решения о категоризации и в большинстве случаев не осознаёт, что произвёл её: если спросить его через минуту, что он подумал, он ответит, что ничего не думал, и ответит честно. Операция происходит ниже уровня, на котором формируются намерения, — примерно там же, где опознаётся знакомое лицо в толпе или различаются мужской и женский голос по телефону. Требовать от человека не производить её — то же, что требовать не узнавать лиц.

Отсюда следует вывод, который не является смягчением. Обвинять здесь некого. Не в том смысле, что виноватых нужно простить, а в том, что адресата не существует: у механизма, работающего без автора, нет стороны, к которой можно обратиться. Обида, естественно возникающая в этом положении, направлена в пустоту не по ошибке чувства, а потому, что адресоваться ей некуда. Механизм, у которого нет автора, нельзя переубедить — с ним можно только считаться.

Операция эта совершенно симметрична. Приезжий производит её ровно так же и с той же скоростью: он различает местных по речи, размещает их по своим ячейкам, взятым из своего прежнего опыта, и ошибается при этом не реже. Разница между двумя сторонами не в качестве слуха и не в доброжелательности, а в том, чья система ячеек здесь действует. Действует местная — та, которой пользуется большинство. Никакого другого преимущества у неё нет, и никакого другого не нужно.

Британская карта произношения — какой выговор не указывает на место рождения, какой указывает, почему выученный звучит хуже честного местного и что происходит с человеком, сменившим одно на другое, — читается только после того, как описана сама система различения.

Отказ в приёме, таким образом, не выносится. Он срабатывает — за то время, за которое произносят одно слово.

1.6. «Меня здесь не понимают»

Лондон, начало 1790-х. Французов, покинувших страну после 1789 года, в Британии к этим годам десятки тысяч, и больше всего их здесь: духовенство, отказавшееся присягать, офицеры, семьи со старыми фамилиями. Земля осталась во Франции и была продана как национальное имущество. Титул не прошёл границу: английское общество имело собственную знать, отлично знало ей счёт и в чужой не нуждалось. Придворная должность не прошла тем более — двор, при котором она существовала, перестал существовать сам. Прошло единственное: язык. Французский был в Англии языком образования, и на него имелся устойчивый спрос — уроки в частных домах, переводы, сопровождение в поездках. Люди, знавшие двор, зарабатывали тем, что учили спряжениям, и зарабатывали неплохо; спрос был реальным, оплата приличной.

Прошёл не французский язык как признак образованного человека — в этом качестве он у себя дома вообще не был достоинством, поскольку им владели все, кого стоило принимать в расчёт. Прошёл французский как товар, на который есть покупатель. Умение, не бывшее уме-

нием и не отличавшее своего от своего, обнаружило цену в тот самый момент, когда перестало быть общим. Обратное произошло со всем остальным: происхождение, отличавшее человека дома лучше любого документа, здесь не отличало ни от кого, потому что различать по нему было некому. Так и работает граница — она не понижает и не повышает, она меняет то, что здесь редкость.

Одного этот заработок не дал. Учитель, приходящий в дом дважды в неделю, находится в доме и не находится в кругу его хозяев; его любезно принимают, ему исправно платят, и статью расхода он занимает ту же, что настройщик или портной. Ни для кого из них преподавание не стало входом в английское общество, а обратный путь — во Францию — вернул большинству ровно то, что было утрачено, в тот момент, когда во Франции переменялось положение. В письмах этого времени возвращается одна формула, и звучит она так же, как век спустя в парижских письмах русских, и так же, как звучит сегодня: здесь меня не понимают.

Повторяемость формулировки через три столетия, три страны и три причины отъезда — сама по себе довод. Обстоятельства в этих случаях не совпадают ни в чём: разные языки, разные системы, разные способы зарабатывать, разное отношение принимающей стороны. Совпадает фраза. Когда при полностью разных вводных повторяется один и тот же вывод, описывается не обстоятельство, а устройство.

Первое объяснение, которое приходит в голову, здесь не работает. Жалоба принадлежит не тем, кто плохо владеет языком. Человек, объясняющийся с трудом, говорит другое — он говорит, что не может сказать, и это техническая трудность с понятным сроком устранения. Формула «меня здесь не понимают» произносится теми, кто говорит свободно, и — что существеннее — произносится тем чаще, чем лучше человек говорит. Через десять лет она звучит настойчивее, чем через два. Барьер снят, беглость достигнута, словарь достаточен для любой темы, а понимания нет; значит, дело было не в словах.

За формулой стоит исчезновение аудитории, считывавшей всё бесплатно. Дома интонация, пауза, выбор слова, короткая отсылка к чему-то общеизвестному работали без усилия и без пояснений — не потому, что говорящий был красноречив, а потому что слушатель располагал тем же набором. Ирония опознавалась по одному сдвигу голоса. Полуцитата узнавалась по трём словам, и узнавалась всеми, кто учился по тем же книгам. Умолчание читалось как умолчание, а не как незнание. Всё это составляло не содержание речи, а её второй этаж, и второй этаж строился совместно.

Здесь тот же самый набор приходится проговаривать. И, будучи проговорённым, он перестаёт работать: отсылка, снабжённая пояснением, перестаёт быть отсылкой, ирония, обозначенная как ирония, перестаёт быть иронией, а деликатное умолчание, если его расшифровать, превращается в бестактность. Средства эти устроены так, что действуют только в непроговорённом виде. Их нельзя перевести — не по бедности языка перевода, а потому что переводить пришлось бы не слова, а общий фон, а фон не поддаётся передаче по частям.

Это ровно то, что показала опись: понимание с полуслова требует второй половины слова, произносимой кем-то другим. Второй половины нет. Первая при этом сохранилась целиком — человек не разучился шутить, не потерял ни ума, ни точности, ни чувства слова. Работает половина операции, и результата не даёт.

Проверяется это одним наблюдением, которое доступно каждому, кто такую колонию видел. Внутри своих второй этаж работает по-прежнему и работает безупречно: те же люди, жалующиеся на непонимание, между собой понимают друг друга с четверти слова, шутят без пояснений и обходятся намёком там, где посторонним потребовался бы абзац. Способность никуда не делась. Делась среда, в которой она имеет хождение, и потому жалоба формулируется с указанием места: не «я разучился», а «здесь меня не понимают». Указание точное. Ошибочно в нём только одно — предположение, что «здесь» есть свойство здешних людей, а не описание того, где проходит граница зоны.

Точнее всего замер производится юмором. Шутка — прибор с мгновенным показанием и без промежуточных значений: она либо сработала, либо нет, и результат виден в ту же секунду по лицам. Устроена она так, что требует общего фона целиком, а не частично: смешное держится на несовпадении сказанного с ожидаемым, а ожидаемое берётся из фона. Нет фона — нет несовпадения, и остаётся набор слов, в котором нечему смешить. Пояснение положения не спасает: объяснённая шутка уже не смешит, и это единственный жанр речи, где неудачу невозможно исправить повтором.

Есть у этого прибора и второе показание, менее заметное. Шутка проверяет не только фон, но и право шутить: в любом обществе оно распределено неравномерно, и первым его получает тот, кого считают своим. Человек со стороны, отпускающий замечание в чужой компании, рискует не только тем, что его не поймут, но и тем, что поймут и сочтут вольностью — тогда как то же замечание, произнесённое здешним, проходит без последствий. Различить эти два исхода изнутри почти невозможно: и в том, и в другом случае наступает та же короткая пауза. Оттого приезжие быстро перестают шутить в чужой среде — не потому, что им запретили, а потому что второй показатель прибора не читается, а первый читается слишком хорошо.

Шутка, не сработавшая дважды, сообщает о состоянии счёта больше, чем год разговоров о карьере. Разговоры о карьере ведутся на первом этаже, где всё переводится: должность, оклад, отрасль, планы — всё это имеет эквиваленты и передаётся без потерь. Шутка проверяет второй этаж, и проверяет мгновенно. Человек, у которого дела идут хорошо и который шесть лет не может рассмешить своих коллег, знает о своём положении нечто, чего не показывает ни один другой замер.

Произнесённая вслух, формула звучит как жалоба на людей и на страну — на здешнюю сухость, на нелюбопытство, на нежелание вникать. В таком виде она непроверяема и потому бесполезна: обвинение предъявлено стороне, которая ни о чём не подозревает.

Переведённая в механизм, она перестаёт быть жалобой. Аудитория не отказала — её нет. Никто не отвернулся, не поленился и не проявил холодности; просто способность считывать оттенки не является свойством доброго человека, она является результатом совместно прожитого времени, и там, где времени не было, её нет и у самых расположенных. Это меняет не самочувствие, а предмет разговора: вместо вопроса о людях появляется вопрос о величине.

А величину можно посчитать.

Все три столетия эту сцену описывали одинаково: человека недооценили. Формула предполагает ошибку, которую можно исправить, — предъявить недостающие сведения, дождаться, чтобы разобрались, найти того, кто оценит верно. Из механизма следует, что исправлять нечего. Оценка не является суждением отдельного человека и не содержит ошибки: её производит сообщество, и производит исправно, по своим правилам, из своего набора, с той скоростью, с какой узнают знакомое лицо. Вопрос, стало быть, стоит иначе, чем принято его ставить. Не почему этого человека не оценили по достоинству, а кто вообще производит оценку и на каком основании она у него получается.

Парижское такси при таком чтении выглядит иначе. Потеряны не имена, не чин и не бумаги — потеряна аудитория, которая всё это считывала бесплатно и мгновенно, не требуя ни пояснений, ни доказательств, ни второй попытки. Она осталась там, где была, и там продолжает работать. Пассажир, севший в машину, ни в чём не виноват и ничего не должен: он не отказал в признании, у него просто нет прибора, которым здесь можно было бы что-то признать.

Если оценку производит принимающая сторона, значит, исход зависит не от того, что вывезено, а от того, что здесь берут. Из этого следует вещь, довольно неожиданная для сюжета, который принято излагать в словах утраты: потери поддаются расчёту, и расчёту заранее. Остаётся мелочь — узнать, чем именно считать.

Глава 2. Виды капитала и их таможенная проходимость

Из одной страны, в один год, из одного круга уезжают несколько тысяч человек. Через десять лет часть из них занимает положение, сопоставимое с прежним, часть — заметно ниже прежнего, часть не занимает никакого. Распределение это не случайно: оно повторяется от волны к волне и от века к веку с постоянством, которое обычно и называют закономерностью. Объяснение через личные качества здесь не работает — не потому, что качества ничего не значат, а потому, что расхождение слишком регулярно, чтобы производиться чем-то настолько нерегулярным, как характер. Если бы дело было в упорстве, исходы распределялись бы так же, как упорство, то есть беспорядочно. Они распределяются иначе: по профессиям, по типу компетенции, по тому, чем человек занимался до того, как всё это перестало иметь значение.

Значит, различаются не люди, а то, что они везут. Капитал, который человек предъявляет одним словом «я», неоднороден. Часть его пересекает границу целиком и без потерь, сохраняя ту величину, какую имела до пересечения. Часть проходит в доле — и доля эта не случайна, она вычисляется. Часть не проходит вовсе, причём владелец узнаёт об этом позже всего остального. Решает при этом не качество капитала: превосходная компетенция может не пройти совсем, а посредственная — пройти целиком. Решает независимость от контекста, в котором капитал был приобретён, и проверяемость без этого контекста. И рядом работает вторая переменная, лежащая вне багажа целиком: спрос на той стороне, без которого самое проверяемое умение не стоит ничего.

Отсюда и картинка. Таможня, пропускающая одно и разворачивающая другое, — притом что декларирует человек всё сразу и одной строкой.

2.1. Деньги проходят целиком

В 1850 году русская казна выплатила частному лицу, находящемуся за границей и объявленному государственным преступником, стоимость имущества, которое сама же годом раньше распорядилась взять под секвестр. Механика была следующая. Перед отъездом из России и в первые годы после него Александр Герцен перевёл документы на материнское имение и часть капиталов на имя банкирского дома Ротшильда. Когда после отказа вернуться по вызову правительства имущество было арестовано, требование о выплате предъявила уже не эмигрантская семья, а парижский банкир, чьё участие в размещении русских займов на европейских рынках делало отказ дорогим. Спор был не о правоте и не о лояльности. Он был о кредитоспособности, и в этом качестве решался быстро.

Деньги проходят границу целиком. Сумма не меняется от перемещения; курс, если валюта другая, пересчитывается арифметически и известен заранее; признание не требуется вовсе. Банкноте не нужно, чтобы её владельца сочли своим, — она не различает, кто её предъявляет, и в этом состоит её служебное свойство. Из всех капиталов это единственный, у которого проходимость полная. У остальных доля меньше единицы, а у одного она равна нулю.

Утверждение это требует одного уточнения, без которого оно неверно. Полностью проходит не имущество, а сумма — то есть та часть средств, которая уже приняла форму, безразличную к месту. Земля не перемещается, дом не перемещается, доля в предприятии перемещается ровно настолько, насколько её удаётся продать до того, как продавать станет некому. Французская знать после 1789 года разделилась по этому признаку раньше, чем по любому другому: те, кто успел обратить часть владений в монету и переправить её за границу, оказались в эмиграции людьми со средствами; те, чьё состояние оставалось землёй, оказались людьми с титулом и без средств, притом что до события оба разряда числились в одном сословии и по

имущественной оценке — в одном разряде. Разница между ними была не в размере состояния, а в его агрегатном состоянии. То же деление повторилось в 1917 году с точностью, которая делает его скорее правилом, чем совпадением: за границей были обеспечены те, чьи деньги ещё до событий лежали в иностранных банках или были вложены в бумаги, обращавшиеся на европейских биржах.

Отсюда и второе уточнение: полная проходимость описывает то, что происходит с суммой при пересечении границы, а не гарантию, что сумму удастся вывезти. Вывоз — отдельная задача, решаемая до границы и не имеющая отношения к свойствам самих денег. Герцену она далась потому, что нашёлся инструмент и нашёлся рычаг, а не потому, что деньги легко вывозятся. Но та часть, которая границу пересекла, пересекла её целиком, и никакие последующие обстоятельства этой величины не уменьшили.

Полная проходимость производит систематическую ошибку — и именно потому, что она реальна. Человек, обнаруживший, что деньги перешли границу без потерь, естественно заключает, что перешло и остальное, или перейдёт следом, с задержкой на оформление. Основание для такого вывода выглядит убедительно: деньги ведь и раньше покупали большую часть того, что прилагалось к положению. Они покупают это и здесь. Жильё в определённом месте, образование детей в определённом заведении, обстановку, круг досуга, время, свободное от заработка, — всё это приобретается за прежнюю цену и приобретается исправно. Купленное выглядит как прежнее. Оно не работает как прежнее, и расхождение обнаруживается не сразу: сначала приобретается дом, потом выясняется, что дом в этом месте раньше был следствием положения, а теперь является его заменителем, и что разницу между следствием и заменителем окружающие считают быстрее, чем владелец. Издержка здесь не в деньгах, а во времени: несколько лет уходит на действия, основанные на неверном допущении, и это самые дорогие годы.

Природа ошибки видна отчётливее, если посмотреть, чем было положение до переезда. Оно было составным: доход, занятие, признание, круг, репутация и происхождение работали вместе и подкрепляли друг друга, так что каждая часть стоила дороже в присутствии остальных, чем по отдельности. Деньги были одной из частей — и в этом качестве казались частью, покупающей все прочие, поскольку внутри работающего целого они действительно многое открывали. За границей целое распалось, и деньгам приходится покупать каждую часть отдельно и по розничной цене. Некоторые части в розницу не продаются вовсе, а некоторые продаются в форме, внешне неотличимой от искомой: адрес продаётся, соседство — нет; обучение продаётся, круг однокашников, который образованием производился, — нет; членство в обществе, куда принимают за взнос, продаётся, признание тех, кто состоит в нём по другим основаниям, — нет. Купленный набор совпадает с прежним по описи и не совпадает по действию.

Есть и более простое основание ошибки, лежащее в самой арифметике конвертации. Курс сообщается заранее, операция занимает минуты, результат проверяется вычитанием — и эта прозрачность создаёт впечатление, что и остальные величины пересчитываются по какому-то курсу, пусть неизвестному, но существующему. Впечатление ложное. У остального капитала нет курса, потому что нет обменного пункта: конвертация здесь означает не пересчёт по коэффициенту, а заново полученное согласие принимающей стороны, которого может не быть ни при каком коэффициенте. Единственное место, где статус ведёт себя как валюта в полном смысле — включая обменные операции, — это деньги, то есть та его часть, которая и так является валютой.

Случай Герцена ценен тем, что в нём обе половины видны отдельно, как в хорошо поставленном опыте. Прошло состояние — и прошло не потому, что кто-то на той стороне признал его владельца достойным, а потому, что перемещением занимался финансовый инструмент. Вексель, залог, долговое обязательство, банкирский дом с интересом в русских займах:

капитал переводится через механизм, которому безразличны и происхождение владельца, и мнение принимающего общества, и его собственное отношение к тому, что переводит. Дальше такого не будет ни разу. Ни один другой вид капитала не перемещается без участия принимающей стороны. Всякий раз, когда дело касается навыка, репутации или связей, вопрос стоит так: кто на той стороне готов это признать и на каком основании. Здесь вопрос не стоит вообще. Полученная сумма обеспечила Герцену независимость на всю оставшуюся жизнь — независимость буквальную, измеримую, не требующую ничьего согласия.

Вторая половина случая — та, ради которой он и приведён. Состояние не дало ни грана политического веса. В России сын богатого барина, человек известного круга, автор, которого читали, располагал слышимостью, устроенной сложно и не им: связями, разговорами, репутацией, средой, готовой передавать сказанное дальше. Ничего из этого через границу не пошло. В Лондоне начала пятидесятых он был человеком с деньгами и без аудитории. Вес пришлось строить заново и с нуля: Вольная русская типография в 1853 году, «Полярная звезда» в 1855-м, «Колокол» с 1857-го — и лишь к концу десятилетия положение, при котором листы, печатавшиеся в Лондоне, читались в Петербурге, включая кабинеты, где решения принимались. От выезда до этой точки прошло больше десяти лет. Деньги оплатили типографию, бумагу, помещение и время, свободное от заработка. Влияния они не оплатили — влияние производится тем, что напечатанное читают, а читать или не читать решает читающая сторона.

Различение средств, положения и принадлежности ложится на этот случай без остатка. Средства прошли — полностью, в исходной величине, без задержки и без чьего-либо согласия. Положение не прошло: то, что оно было построено заново и в конце концов оказалось значительным, — результат более чем десятилетней работы, а не перемещения. Принадлежность в этом случае даже не обсуждается, и не по деликатности, а по существу: Герцен её не искал, английским обществом не считывался и не хотел считываться, прожив в Лондоне годы в положении человека, чья репутация целиком принадлежала другой стране. Отсутствие этого пункта в его расчётах — не особенность биографии, а свойство самого пункта: он единственный, который нельзя ни купить, ни заработать, и потому его отсутствие в списке потерь не мешает жить, пока его не начинают искать.

Дальше каждый случай читается той же тройкой: что прошло, что не прошло и что не имело шансов пройти. Деньги — крайняя точка шкалы и самый простой из случаев: доля проходимости здесь равна единице и не зависит ни от чего. У следующего капитала доля не постоянна. Её приходится вычислять.

2.2. Навык проходит настолько, насколько независим от контекста

Начиная с 1792 года по германским княжествам, Австрии, Швеции и России расходятся французские эмигранты, зарабатывающие уроками. Учат языку, танцу, фехтованию, режиссированию и музыке. Среди них есть люди, у которых во Франции ничего похожего на преподавание в занятиях не значилось: должность при дворе, место в парламенте, управление имениями, интендантская служба. То, чем они кормятся теперь, было в прежней жизни не профессией, а признаком — умением, которое полагалось иметь человеку известного разряда и которое никому не приходило в голову продавать. Проданным оно оказалось потому, что было единственной частью их оснащения, отделимой от Франции. Танец показывается и повторяется. Произношение слышно. Фехтовальный приём либо проходит, либо нет, и проверить это можно за минуту, не зная о противнике ничего.

Из этого выводится правило, по которому считается всякая компетенция. Навык проходит границу настолько, насколько он независим от контекста. Не насколько он хорош; не насколько сложен; не насколько высоко ценился там, откуда вывезен, — насколько он отделим

от среды, в которой был приобретён, и проверяем без неё. Величина эта не относится ни к усердию человека, ни к его дарованию. Она относится к устройству занятия, и потому известна заранее, ещё до всякого переезда.

На одном полюсе шкалы стоит умение, проверяемое без языка и без биографии. Расчёт верен или неверен; мост держит или не держит; шов состоятелен или разошёлся; партия сыграна чисто или с ошибками, слышными любому, кто слушает. Результат предъявляется сам и оценивается сам по себе, а проверяющему не требуется знать, кто перед ним, откуда он приехал и что означало его имя в прежней стране. Это единственный род компетенции, которому не нужен поручитель. Всё прочее нуждается в ком-то, кто скажет: этот человек знает своё дело, — и потому упирается в вопрос, чьё слово на этой стороне что-нибудь весит. Здесь вопрос снят самим устройством дела. Свойство это редкое и, вопреки распространённому впечатлению, не связанное с высотой квалификации: у краснодеревщика оно есть, у управляющего департаментом — нет.

Целые сословия жили этим свойством задолго до того, как появились паспорта в нынешнем смысле. Итальянские архитекторы и инженеры XVI—XVIII веков работали от Мадрида до Петербурга, переезжая по приглашению и не нуждаясь ни в чьём поручительстве, кроме построенного здания; итальянские и немецкие музыканты кормились при дворах, языка которых не знали, потому что игру слышно и сравнивать её умеет всякий, кто слушал других. Ни один из них не пересекал границу так, как пересекает её человек, потерявший положение, — но механизм тот же и виден в чистом виде: перемещалась компетенция, предъявлявшая себя сама. Заказчику незачем было выяснять, кто в Ферраре считал этого человека своим. Он смотрел на купол.

На другом полюсе — занятия, состоящие из одного контекста. Придворный, управляющий, посредник, чиновник, толкователь чужой воли: их компетенция реальна, и это стоит сказать прямо, потому что перечень легко читается как список синекур. Никакой из этих родов деятельности не является мнимым. Знать, в каком порядке подаются бумаги и кем они на самом деле решаются; понимать, чья резолюция решает дело, а чья только отодвигает его; чувствовать, какая просьба уместна сейчас, а какая — через месяц; вести имение так, чтобы оно приносило доход при трёх неурожаях подряд, — это трудные умения, приобретаемые десятилетиями и требующие ума не меньшего, чем инженерное дело. Беда их в другом: они неотделимы от среды и непроверяемы снаружи. Предъявить такую компетенцию невозможно, потому что предъявлять пришлось бы среду — двор, ведомство, губернию, круг лиц и их отношения между собой, — а среда осталась там. Носитель этого умения за границей располагает не устаревшим знанием, а знанием о постороннем предмете, и разница здесь принципиальная: устаревшее знание можно обновить, знание о постороннем предмете обновлять не в чем.

Границы для этого, впрочем, не требуется вовсе — достаточно, чтобы исчезла среда. В 1861 году в России отменили крепостное право, и вместе с прежним устройством имений обесценилась компетенция управляющего: умение вести хозяйство, где рабочие руки принадлежат владельцу, а отношения с ними регулируются обычаем и властью, оказалось знанием о предмете, которого больше нет. Человек при этом никуда не уезжал, оставался в своём уезде, среди тех же людей, с той же репутацией дельного хозяина. Его капитал обнулится на месте. То же происходит всякий раз, когда упраздняется учреждение, распускается двор, ликвидируется ведомство: десятилетия точного знания о том, как здесь всё устроено, перестают стоять чего-либо, потому что «здесь» перестало существовать. Граница — лишь самый быстрый и самый наглядный способ проделать эту операцию; она уничтожает не среду, а доступ к ней, с тем же результатом для расчёта.

Между полюсами лежит самая населённая часть шкалы, и барьер здесь третьего рода. Врач, юрист, бухгалтер, аптекарь, инженер, имеющий право подписи, — их навык проверяем, но проверку производит не тот, кто нанимает, а орган, выдающий право практиковать. Это

меняет всё устройство входа. Работодатель может ошибиться в оценке и может рискнуть; учреждение, выдающее лицензию, не оценивает и не рискует — оно сверяет соответствие процедуре. Отсюда специфический срок, отличающий эту часть шкалы от обоих полюсов: время уходит не на освоение, а на подтверждение уже освоенного. Экзамены на языке, который приходится учить заново; практика под надзором в возрасте, когда надзор давно пройден; иногда полный повторный курс, потому что процедура не знает частичного зачёта. Издержка при этом двойная. Первая — годы. Вторая — обесценивание опыта, накопленного до границы: он не отвергается, он просто не входит в форму, по которой ведётся сверка, и потому не учитывается ни в какой доле. Проходимость здесь не нулевая и не полная; она отложенная, и её величина определяется не рынком, а регламентом.

Устроен этот барьер не против приезжих, и в этом его особенность. Лицензия существует потому, что покупатель врачебной или юридической услуги не в состоянии оценить её качество до того, как последствия наступят, — и в таком положении находится местный житель ровно в той же мере, что и приезжий. Регламент отвечает на невозможность частной проверки, а не на происхождение проверяемого; человек, окончивший здешний университет, проходит те же экзамены, только он проходит их вовремя и в двадцать пять лет, а не заново в сорок пять. Поэтому здесь нет ни доброжелательности, ни недоброжелательности, которую можно было бы прочесть, — есть процедура, одинаково безразличная ко всем, и издержка, распределяющаяся неодинаково. Внутри самой этой полосы шкалы доли расходятся широко: чем короче цепочка между действием и его проверяемым результатом, тем легче подтверждение, и наоборот, чем больше в занятии знания местных установлений, тем ближе оно к другому полюсу. Хирург и юрист числятся по одному разряду свободных профессий, но у первого предмет один в любой стране, а у второго предмет и есть страна.

Во всех трёх случаях речь идёт о свойстве занятия, а не человека, и это не оговорка, а условие, без которого шкала измеряет не то. Придворный не менее умен, чем механик, и не менее трудолюбив; управляющий имением может превосходить хирурга и памятью, и хваткой, и выдержкой. Шкала не выстраивает занятия по достоинству, по общественной пользе и по трудности. Она измеряет одну величину: отделимость компетенции от среды. Прочтение её как рейтинга достоинств — ошибка не этическая, а расчётная: она немедленно возвращает объяснение к личным качествам, то есть к тому самому месту, из которого расчёт и пытается выйти. Человек, чья профессия оказалась непроходимой, не сделал ничего неправильного и не выбирал в двадцать лет с учётом границы, которой тогда не предвиделось. Свойство его занятия было определено задолго до него — тем, как это занятие устроено.

У правила есть и обратная сторона, объясняющая исходы, которые иначе выглядят парадоксом. Проходимость не совпадает с положением: она распределена по шкале иначе, а нередко и противоположно. Занятия, дающие в устойчивом обществе наибольший вес, — те, что состоят из управления, представительства и посредничества, — устроены из контекста почти целиком, потому что их предмет и есть отношения между людьми. Занятия, дающие вес умеренный, чаще состоят из операций с вещами и числами, проверяемых где угодно. При переезде эти два разряда меняются местами, и меняются не постепенно, а сразу. Отсюда регулярная картина всякой эмиграции: люди, стоявшие в прежней иерархии выше, оказываются ниже тех, кто стоял в ней ниже, — и происходит это не в порядке возмездия или иронии судьбы, а потому, что высота прежнего положения производилась в значительной мере именно неотделимостью от среды, то есть тем самым свойством, которое на границе обнуляет капитал.

Читаемый той же тройкой, что и предыдущий случай, навык даёт результат, отличный от денег во всех трёх графах. Средств он сам по себе не переносит: перевозится не заработанное, а способность зарабатывать, и она начинает действовать не в день приезда, а в день, когда её впервые признали. Положение он покупает — в доле, равной его отделимости от среды, и в срок, равный длительности подтверждения. Принадлежности он не покупает ни в какой доле:

безупречно проведённая операция сообщает о хирурге всё, что требуется знать заказчику, и ничего из того, что определяет, сочтут ли его своим. Это первый капитал, у которого доля проходимости больше нуля и меньше единицы, — и первый, у которого срок измеряется не минутами перевода, а годами.

Правило требует проверки, а проверять на разрозненных случаях нельзя: слишком многое различается одновременно — страны, эпохи, обстоятельства выезда, возраст, деньги. Нужен материал, где всё прочее закреплено и меняется одна величина.

2.3. Естественный эксперимент 1933 года

Седьмого апреля 1933 года в Германии принят закон о восстановлении профессионального чиновничества. Формулировки административные, действие мгновенное: люди, занимавшие государственные должности и подпадавшие под расовые и политические определения закона, лишаются мест. Государственными должностями в Германии были и университетские кафедры, и судейские кресла, и места в прокуратуре, и посты в министерствах, и должности гимназических учителей. Отдельным законом того же дня закрыт доступ в адвокатуру, к государственной службе не относившуюся. В течение полутора лет из университетов уходит порядка полутора тысяч преподавателей, из судов и адвокатуры — многократно больше; счёт идёт на десятки тысяч человек, у которых занятие и положение исчезли в один день по причине, не имеющей отношения ни к их работе, ни к их выбору.

Для наблюдателя, интересующегося проходимостью капиталов, здесь редкая удача: история поставила опыт, который исследователю поставить не дали бы. Обычно сравнение эмигрантских исходов бессмысленно, потому что различается всё сразу — страны выезда, годы, возраст, деньги, обстоятельства, наличие или отсутствие выбора. Здесь различия зафиксированы. Одна страна. Одна дата. Один социальный слой: образованное чиновничество и свободные профессии, люди сопоставимого образования, сходного достатка, одного круга, нередко однокашники по одному университету. Причина выезда общая и от них не зависящая. Принимающие страны те же самые для всех — Британия, Соединённые Штаты, Швейцария, Турция, Палестина, Латинская Америка. Даже помощь оказывалась через одни и те же учреждения: в 1933 году в Цюрихе возникает организация помощи немецким учёным за границей, в Лондоне — совет академической помощи, в Нью-Йорке — комитет содействия перемещённым немецким учёным, и все они работают с общим списком.

При таком закреплении переменных различие в исходах приходится объяснять чем-то другим, нежели обстоятельства выезда. Различие оказалось не градиентом, а расколом, и проходит он по линии, не совпадающей ни с прежним положением, ни с известностью, ни с возрастом.

Физики устроились почти поголовно. Не все на прежнем уровне, не все сразу, некоторые через годы временных мест и чужих лабораторий, — но профессия прошла границу как профессия, и через десятилетие немецкая физика существовала в англоязычном мире как непрерывная традиция, сменившая адрес. Механика здесь та, что описана правилом. Физика проверяема без контекста и почти без языка: уравнение читается одинаково в Гёттингене и в Принстоне, вывод либо следует из посылок, либо не следует, эксперимент воспроизводится или не воспроизводится, и результат этой проверки не зависит от того, кто её производит. Компетенция предъявляет себя сама. Ей не нужен посредник, готовый поручиться, что человек чего-то стоит; ей не нужна память принимающей стороны о том, кем он был; ей достаточно доски и получаса. Отсюда и скорость: приезжий, у которого капитал предъявляется напрямую, минует ту часть пути, где обычно и застревают все прочие, — часть, на которой требуется чьё-то ручательство.

Одной проверяемости, однако, было бы мало, и случай тем и ценен, что позволяет это увидеть отдельно. К началу тридцатых годов американские университеты строили физику как дисциплину: возникали кафедры, ставились установки, появлялись деньги на исследования, и квантовая механика, за десять лет до того сделанная по большей части в Германии, входила в программы. Иначе говоря, на той стороне уже существовал спрос — не благотворительный интерес к пострадавшим, а прямая потребность в людях, умеющих делать именно это. Приезжие попали не в страну, которая согласилась их принять, а в отрасль, которой они были нужны. Разница между этими двумя положениями измерима в годах и в должностях. Проверяемая компетенция без спроса даёт человека, чья годность очевидна и никому не требуется, — фигуру, которая в эмигрантской статистике встречается чаще, чем принято думать, и которая обычно объясняет свой случай невезением.

Юристы, судьи, чиновники и гимназические учителя не устроились почти никто. Это самая тяжёлая часть материала и самая доказательная. Их компетенция была подлинной и высокой: германское право начала века — одна из самых разработанных юридических систем Европы, и человек, знавший кодекс, процедуру, прецедент и административную практику, владел предметом сложным, требовавшим двадцати лет освоения. Предмет этот, однако, был правом и порядком конкретной страны. За границей знание такого рода не портится и не устаревает — с ним происходит другое, и это другое хуже: оно становится знанием о постороннем предмете. Судья, разбиравший дела по германскому гражданскому уложению, обладал в Америке безукоризненной осведомлённостью в вопросе, которым никто вокруг не занимался. Учитель гимназии, преподававший на немецком литературу, историю и латынь по германской программе, обладал квалификацией, целиком состоявшей из этой программы и этого языка.

Стоит задержаться на том, из чего складывалось их прежнее положение, потому что здесь видна связь между высотой места и его непроходимостью. Германский судья или профессор права занимал место высокое — выше среднего физика той же выслуги, и по доходу, и по влиянию, и по тому, как его считывали в собственном городе. Высота эта производилась встроенностью в государственную машину: должность была государственной, авторитет — производным от закона, круг — служебным. Всё, что делало это положение высоким, состояло из связей с конкретным устройством конкретной страны, и потому обнулилось не в первую очередь, а целиком. Разложенное по трём графам, дело выглядит так: средства прошли у тех, кто успел их вывезти, и здесь профессия не имела значения; положение не прошло у юристов вовсе и прошло у физиков в высокой доле; принадлежности не приобрёл никто из них, включая тех, чья карьера в новой стране оказалась блестящей. Об этой третьей графе в тридцатые годы не думал никто: вопрос стоял о работе.

Ко второй переменной их случай оказался столь же безнадёжен. Спроса на германское право не существовало нигде: ни в одной принимающей стране не строилась дисциплина, которой оно могло бы понадобиться, — а строилась, напротив, собственная, с собственными школами и собственной очередью выпускников на входе. Небольшое исключение подтверждает правило с той точностью, какой обычно от исключений не ждут: несколько человек всё же продолжили заниматься правом — те, кто занимался сравнительным правоведением, международным правом или римским правом, то есть областями, чей предмет по определению не привязан к одной стране. Отделимость от контекста и здесь оказалась той величиной, которая всё решила, — но внутри одной профессии, на людях одной корпорации и одного образования.

Между двумя этими полюсами тот же материал даёт и промежуточные исходы, и они укладываются в ту же арифметику. Врачи прошли — но не сразу и не бесплатно: медицина проверяема почти как физика, а допуск к практике почти везде выдаётся учреждением, и потому между приездом и работой встали экзамены, подтверждения и годы, в течение которых человек с двадцатилетним стажем числился начинающим. Спрос при этом был: больные есть везде. Обе величины оказались ненулевыми, доля проходимости — заметно меньше единицы, а разница с

физиками свелась к длине задержки. Ещё выразительнее случай тех, кто занимался германской филологией, историей немецкой литературы, немецким средневековьем. Их предмет от страны отделим — тексты перевозятся, — но спрос на него за пределами немецкоязычного мира существовал в объёме нескольких кафедр на континент. Проверяемость высокая, спрос почти нулевой; произведение двух величин дало результат, близкий к юридическому, при совершенно другом устройстве профессии. Промежуточные случаи, таким образом, ничего не смягчают: они показывают шкалу, а не милосердие обстоятельств.

Обе переменные работают на одном материале и видны отдельно, чего почти никогда не случается. Видно и главное для расчёта: они не складываются, а перемножаются. Сложение допускало бы возмещение — высокая проверяемость компенсировала бы слабый спрос, сильный спрос вытягивал бы контекстную профессию. Наблюдается противоположное. Нулевая любая из двух обнуляет результат целиком, независимо от величины второй. Проверяемая компетенция без спроса не проходит: годность признают и не применяют. Востребованная, но неотделимая от среды, не проходит тоже: потребность есть, а предъявить в ответ нечего, потому что предъявлять пришлось бы страну, которая осталась позади. У физиков обе величины оказались высокими одновременно — отсюда исход почти поголовный. У юристов обе оказались нулевыми одновременно — отсюда исход не тяжёлый, а полный: профессия не прошла не частично, а целиком.

Помощь, оказанная в эти годы, устроена так, что сама служит доказательством. Комитеты составляли списки, рассылали их по университетам, платили первые стипендии и хлопотали о местах — то есть делали ровно то, что в нормальном порядке вещей делают коллеги, ученики, начальники кафедр и знакомые знакомых. Учреждение подставили на место утраченной сети, и подстановка сработала — но сработала избирательно, и избирательность её показательна. Список, в котором значится физик, действует как приглашение: получатель списка знает, что делать с этим человеком, и способен проверить его за один семинар. Тот же список, в котором значится специалист по административному праву, не действует никак — не потому, что к нему отнеслись хуже, а потому, что рекомендация может доставить внимание и не может создать предмет, которого нет. Поручительство ускоряет там, где есть что предъявить, и не заменяет предъявляемого.

Именно это перемножение и делает расчёт возможным до переезда, а не после. Величины обеих переменных известны заранее. Отделимость компетенции от среды определяется устройством занятия и не меняется от того, кто им занят. Наличие спроса устанавливается наведением справок о том, строится ли на той стороне дело, которому требуется это умение. Ни та ни другая величина не относится к достоинствам человека, и ни та ни другая не выясняется опытным путём — обе доступны до того, как чемодан собран. То, что расчёт этот почти никогда не производится, объясняется не отсутствием сведений, а тем, что человек считает своим капиталом себя, а себя привык оценивать в одной шкале, где эти две величины не значатся вовсе.

Одно уточнение необходимо, иначе материал прочтётся неверно. Раскол 1933 года прошёл не между умными и глупыми, не между заслуженными и случайными и не между теми, кто старался, и теми, кто опустил руки. Он прошёл между профессиями — по признаку, который выбирается в двадцать лет, задолго до всякого закона, и выбирается по причинам, к границам отношения не имеющим: по склонности, по семье, по тому, что казалось приличным занятием в год поступления. Люди, оказавшиеся по разные стороны этого раскола, сидели в одних аудиториях. Тот из них, кто предпочёл право физике — выбор, который в Германии двадцатых годов означал более верную и более почтенную карьеру, — сделал в этот момент ставку, о существовании которой не знал и знать не мог, и проиграл её через двадцать лет. Ставка была сделана не им — она была сделана устройством занятия.

2.4. Социальный капитал не проходит вообще

Сцена, повторяющаяся в любом ведомстве любой страны. В комнате девять человек, председательствует один, докладывает другой, вопрос решает третий — тот, кто за всё заседание произнёс две фразы и обе не по существу. Знать это заранее и не ошибаться — отдельное умение, не имеющее ни названия, ни аттестата. В Петербурге до 1917 года чиновник средней руки владел им в совершенстве, потому что провёл в этих комнатах двадцать лет: он знал, через чей стол пройдёт бумага и на чьём задержится, чья подпись означает согласие, а чья — вежливую отсрочку, к кому идти в среду и к кому не соваться до пятницы, кто кому обязан и чем. В Париже начала двадцатых те же девять человек в комнате не значат для него ничего. Он видит собрание незнакомых лиц и не может сказать, кто из них главный, — и это не потому, что он потерял наблюдательность.

То, что он потерял, в социологии называют социальным капиталом — совокупностью связей и отношений, из которых человек может извлечь пользу. Ресурс этот накапливается, приносит доход и передаётся по наследству. Состоит он из вещей разнородных: из связей в прямом смысле, то есть людей, которые ответят на письмо; из репутации, то есть готовности незнакомых людей поверить рекомендации; из знания внутренней политики — кто с кем в ссоре с какого года; из умения различать формы отказа; из понимания, какая просьба уместна, в какой форме и в какой момент; из способности услышать, что означает пауза перед ответом. Всё это работало ежедневно и в большинстве случаев ни разу не было названо вслух — ни им самим, ни теми, с кем он имел дело.

Проходимость этого капитала равна нулю, и причина не в строгости чужих порядков, а в устройстве самого предмета. Он состоит из отношений, а перемещается одна сторона отношения. Связь при переезде не портится и не разрывается — она просто остаётся у второго участника, для которого решительно ничего не изменилось: тот же кабинет, тот же круг, та же готовность помочь, если бы к нему обратились в прежних обстоятельствах. Уехавший увозит с собой свою половину, а половина отношения не есть отношение и не имеет никакой стоимости. То же и с репутацией: она не отменена, она хранится в памяти сообщества, которое осталось на месте и продолжает помнить исправно. Из всех капиталов этот единственный, чья утрата не сопровождается ничьей утратой на другой стороне: имущество конфискуют, должность занимает другой человек, а связи целы и никому не понадобились.

Яснее всего это видно на рекомендации — единственной форме, в которой социальный капитал вообще пытаются перевозить. Письмо от прежнего начальника, характеристика от известного в своей стране лица, список должностей, подтверждённый подписью и печатью, — всё это составляется всерьёз и вручается с основанием. На принимающей стороне бумага упирается в вопрос, которого отправитель не предвидел: а кто такой подписавший. Рекомендация действует внутри зоны, где поручителя знают; за её пределами поручитель сам нуждается в поручителе, и цепочка эта обрывается на первом же звене. Отсюда положение, выглядящее нелепо и повторяющееся с полной регулярностью: человек с безупречными свидетельствами о прежних заслугах равен человеку без свидетельств вообще, потому что оба одинаково непроверяемы для того, кто читает.

Границы для такой утраты, как и в случае с занятием, не требуется. Чиновник, переведённый из министерства в частное дело, теряет ровно ту же часть капитала, оставаясь в своём городе: связи целы, но полезны в другой игре. Ещё чище случай, где не двигался никто: сеть обнуляется сама, когда поколение, из которого она состояла, уходит из комнат. Человек не переезжал, не менял занятия и не терял репутации — просто те, кто помнил, чего он стоит, вышли в отставку, а пришедшие им на смену знают о нём столько же, сколько парижане знали

о петербургском департаменте. Он обнаруживает у себя всё то же самое, что обнаруживает эмигрант, и обыкновенно объясняет это возрастом.

Отличие этого капитала от прочих, однако, не в нулевой проходимости — в невидимости. Он не просто теряется, он теряется незаметно, и незаметность встроена в его природу: он работал автоматически и потому не осознавался как ресурс. Никто не помнит, что владеет умением дышать. Человек, потерявший должность, знает, что потерял должность; человек, потерявший состояние, знает сумму; человек, лишившийся возможности практиковать без переэкзаменовки, знает, сколько лет ему назначено ждать. Об утрате чутья на то, кто в комнате решает, никто не узнаёт в момент утраты — узнают много позже и почти никогда в этих словах. Сначала это выглядит как невезение: письма остаются без ответа, встреча ничего не даёт, обещание не исполняется. Потом — как чужая недоброжелательность, и это объяснение особенно устойчиво, потому что подтверждается всякий раз, когда очередная попытка не приводит ни к чему. Верное объяснение проще и потому в голову не приходит: человек делает всё правильно по правилам той комнаты, где эти действия работали, и заходит не с той стороны в комнату, устройства которой не знает.

Отсюда следствие: невидимый капитал не попадает в смету. Уезжающий считает деньги — их можно пересчитать; считает квалификацию и прикидывает, где она понадобится; считает язык, оценивая, сколько лет уйдёт на его доведение до рабочего состояния. Он не считает того, чего нет в его списке, и ошибка эта систематическая, а не случайная: нельзя внести в смету статью, о существовании которой не знаешь. Обыкновенно предполагают, что недооценили расходы или переоценили спрос. Недооценённой оказывается совсем другая величина: скорость, с которой в новом месте делается всякое дело. Там, где на родине хватало одного разговора, требуется полгода; там, где вопрос решался кивком знакомого человека, приходится проходить весь путь через учреждения, не имея никого, кто сократил бы этот путь. Разница не в результате, а во времени, и она умножается на каждое дело, которое предстоит сделать.

Есть у этой ошибки и вторая половина, относящаяся уже не к смете, а к её исполнению. Отсутствие сети замечают позже, чем кончаются первые сбережения, — и потому деньги, вывезенные целиком, расходуются на срок, рассчитанный по прежним скоростям. Год, отведённый на устройство, оказывается тремя не потому, что кто-то ошибся в оценке своей годности, а потому, что каждое действие проходит полный путь через учреждения и незнакомых людей. Из всех строк расчёта эта единственная, которая портит остальные: непроходимость навыка видна сразу и вынуждает менять план, а непроходимость связей позволяет плану выглядеть исполнимым ровно столько времени, сколько нужно, чтобы деньги кончились.

Разложенный по трём графам, этот капитал даёт результат, которого нет ни у денег, ни у навыка. Средств он не переносит и не заменяет. Положения не покупает — он его ускоряет, и разница здесь существенная: связи не дают места, они сокращают путь к месту, а сокращать нечего, если пути ещё нет. Принадлежности он не даёт тоже, хотя из всех трёх капиталов ближе всего к ней подходит и потому чаще всего с ней путается: круг знакомых можно завести, и заведённый круг производит впечатление, что дело сделано. Впечатление держится ровно до первого случая, когда становится видно, что знакомство есть, а того автоматического узнавания, которое связывает людей одного происхождения, нет.

Величина, измеримая в этой строке расчёта, одна, и это не доля, а длительность. Восстановление возможно — но не переносом, а построением с нуля, и строится оно тем же способом, каким строилось в первый раз: годами присутствия, оказанными услугами, сделанной на глазах у людей работой, накопленной репутацией, которую кто-то подтвердит незнакомому третьему лицу. Срок измеряется теми же годами, за которые вывезенное целиком состояние оплатило типографию, а печатавшиеся в ней листы стали наконец читаться. Ускорителей у этого процесса нет: репутация есть чужое знание о человеке, а чужое знание накапливается со скоростью, которую он не задаёт. И одна особенность отличает эту строку от всех прочих в

расчёте: она вписывается не владельцем и не заранее. Её обнаруживают задним числом, когда часть срока уже потрачена на попытки решать дела способом, который здесь не работает.

2.5. Спрос на той стороне

В 1397 году Мануил Хрисолор приезжает во Флоренцию преподавать греческий язык — по приглашению республики, с жалованьем, договором и на условиях, которые город обсуждал всерьёз. Приезжает подданный слабеющей империи, чьё государство уже полвека живёт под угрозой и просит помощи у Запада; принимает его город, куда более богатый, чем Константинополь, и куда менее древний. Через сорок лет, во время собора о соединении церквей, греческая делегация производит на итальянских гуманистов впечатление, которое трудно объяснить одной учёностью её членов; ещё через полтора десятилетия, после 1453 года, поток становится массовым — и вновь прибывшие входят в итальянскую жизнь так, как не входили нигде и никогда почти никакие эмигранты. Кафедры, места при дворах, книжные собрания, покровительство государей. Один из приехавших ещё с делегацией сделался кардиналом, а собранная им библиотека греческих рукописей отошла Венеции и стала основанием республиканского книгохранилища.

Случай единственный. Здесь прошли не только средства и не только положение — прошла и принадлежность. Грек в Италии второй половины XV века не был приезжим, которого терпят; он был носителем того самого, ради чего работало всё образованное сословие принимающей стороны. Условие этой исключительности стоит назвать прямо, иначе случай прочтётся как обещание. Дело не в высоте греческой учёности и не в приветливости итальянских городов. Дело в том, что итальянская элита в этот момент определяла себя через возвращение к древности, а древность была написана по-гречески — и никто из местных прочесть её не мог. Спрос был не просто высоким: он был направлен на то, что принимающая сторона считала своим главным делом. Приезжий понадобился не как рабочая сила и не как редкость, а как условие того, чем здесь занимались.

Внутри той же волны видно, насколько узко это условие. Из империи выезжали не одни учёные: выезжали воины, купцы, духовенство, чиновники распадавшейся администрации, ремесленники, владельцы утраченных земель. Люди одного происхождения, одной веры, одного бедствия — и совершенно разных исходов. Греческие наёмники служили в итальянских войсках и оставались наёмниками; выходцы из чиновничества империи не получили ничего похожего на кафедры и покровительство, потому что искусство управления Константинополем было в Италии знанием о постороннем предмете; островитяне-беженцы селились в Венеции целыми приходами и жили ровно так, как живут беженцы. Спрос был не на греков, а на греческий — на определённый род компетенции, а не на происхождение её носителей. Точность этого различия принципиальна: сказать «Италия принимала греков» значит описать событие неверно и получить из него ложное правило.

Проверить предположение можно только контрфактически. Те же люди, те же рукописи, та же квалификация двумя столетиями раньше — и никакого входа. Латинский Запад XIII века не был к греческому равнодушен: Аристотеля переводили, за текстами посылали, в том числе прямо в Константинополь. Но требовались тексты, а не люди: переводили латиняне для латинян, греческий был инструментом извлечения содержания, а не предметом, и грека, приехавшего учить греческому, некуда было бы посадить, потому что не существовало ни кафедры, ни круга, ни занятия, которому он был бы нужен. Багаж тот же самый — результат противоположный. Меняется при этом не багаж и не его владелец, а одна-единственная величина на другой стороне границы.

Отсюда вывод, переворачивающий всю предыдущую часть расчёта. Проходимость определяется не качеством капитала. Она есть отношение между тем, что привезено, и тем, что на

этой стороне требуется, — свойство пары, а не багажа. Лежит это отношение вне человека: он не может его ни улучшить, ни заслужить. У проходимости, однако, есть степени, и они дают разный результат в трёх графах. Спрос бывает бытовым — на руки, на исполнителя, на человека, готового делать то, чего местные делать не хотят: он покупает средства и не покупает положения, и приезжий с высокой квалификацией в этом случае обеспечен и невиден одновременно. Спрос бывает отраслевым — на определённое умение, которого не хватает: он покупает положение, и покупает его в срок, равный времени, за которое умение будет предъявлено и проверено. И крайне редко спрос оказывается определяющим, то есть направленным на то, чем принимающая сторона считает себя саму; тогда, и только тогда, вместе с положением проходит и третья вещь. Случай XV века потому и единственный в этом счёте, что третья степень встречается раз в несколько столетий и требует совпадения, которое не заказывают: принимающее общество должно в этот самый момент строить себя из того материала, которым владеет приезжий, и не владеть им само.

Багаж, оценённый в одиночку, оценён неверно: опись имущества и список заслуг не содержат второго сомножителя и потому оценкой не являются. Отсюда же и странное на первый взгляд обстоятельство: люди, знающие себе цену точнее всех, ошибаются в прогнозе чаще прочих, поскольку знают ровно ту половину произведения, которая ничего не решает в одиночку.

Пересекать границу для встречи с этой переменной, впрочем, не обязательно — достаточно постоять на месте достаточно долго. В те самые десятилетия, когда греческая учёность входила в Италию по высокой цене, ремесло переписчика рукописей обесценивалось на глазах у своих носителей, никуда не переезжавших. Печатный станок не сделал их почерк хуже и не отменил их выучки — он отменил спрос, и мастерство, требовавшее многолетнего обучения и кормившее сословие, за одно поколение превратилось в предмет любительского интереса. То же произошло позже с латынью как рабочим языком учёности, с искусством фехтования, со счётным делом до появления машин. Никакого перемещения не потребовалось: сторона, предъявлявшая спрос, ушла сама, оставив владельцев компетенции ровно в том положении, в каком оказывается приезжий, — с полноценным умением и без покупателя. Граница делает это быстрее и заметнее, но не иначе.

Здесь же лежит и самое сильное возражение против всего расчёта. Расчёт проходимости выглядит фаталистичным и опровергается на первый взгляд повседневным опытом: люди с непроходимым багажом устраиваются, и нередко лучше тех, у кого багаж был конвертируемым. Бывший чиновник открывает торговое дело и через десять лет обеспечен так, как не был обеспечен на службе; юрист, чьё право за границей ничего не весило, становится издателем. Возражение существенное, и ответ на него не в оговорках. Матрица считает начальные доли, а не судьбу: она отвечает на вопрос, что из привезённого будет принято в первый год, и не берётся отвечать на вопрос, чем человек будет заниматься через двадцать лет. Разница между этими вопросами — вся разница между расчётом и пророчеством. Больше того: сами исключения объясняются той же моделью, а не вопреки ей. Устраивается не тот, кто сохранил свой капитал, а тот, кто нашёл другую сторону произведения: чиновник, открывший дело, не конвертировал прежнюю компетенцию — он обнаружил спрос и построил под него новое занятие, начав с нуля и заплатив за это годами. Модель не запрещает такого исхода. Она говорит, чего он стоит и откуда берётся, — и предсказывает, что вход в него будет проходить не через прежние заслуги. Проверить это можно по одному признаку, различающему два внешне схожих исхода: устроившийся человек либо продолжает делать то же, что делал, либо не продолжает. В первом случае прошёл капитал; во втором прошёл человек, а капитал не прошёл, и разницу эту легко потерять из виду, потому что снаружи оба выглядят одинаково благополучно.

Если проходимость есть свойство пары, а не багажа, то воздействовать можно на любую из двух её частей — и вторая, в отличие от первой, не является данностью природы. Спрос

не обязательно искать. Спрос можно построить: создать сторону, которой привезённое требуется, вместо того чтобы отыскивать её среди существующих. Ход этот не гипотетический: он проделывался неоднократно, имеет известную цену и известные условия, при которых не срывается вовсе.

Обе переменные, из которых складывается расчёт, теперь названы, и обе оказались устроены не так, как ожидает от них уезжающий. Первая относится не к нему, а к его занятию. Вторая не относится даже к его занятию — она находится на территории, куда он ещё не приехал.

2.6. Матрица

Смета перед отъездом составляется обыкновенно в одну колонку: что берём, сколько это стоит, на сколько хватит. Счёт же требует четырёх величин на каждую строку, и ни одна из четырёх в такую колонку не помещается. Первая — доля проходимости: какая часть капитала переходит границу в неизменном виде. Вторая — что именно эта часть покупает на той стороне: средства, положение или ничего. Третья — срок: сколько времени проходит между пересечением границы и моментом, когда капитал начинает действовать. Четвёртая — переменная, от которой доля зависит, то есть указание, что именно нужно узнать, чтобы долю вычислить. Капиталы располагаются по убыванию проходимости, и убывание это резкое: между первой строкой и последней не постепенный переход, а обрыв.

Деньги. Доля проходимости полная — единица, без оговорок и без условий. Покупают средства, и только средства. Срок нулевой: конвертация занимает столько времени, сколько идёт перевод, и признания не требует ни от кого. Зависимость отсутствует — переменной в этой строке нет, и это единственный такой случай в расчёте. Оговорка к строке одна: приобретаемое на эти средства выглядит как прежнее и не работает как прежнее, поскольку в прежнем месте оно было следствием положения, а в новом становится его заменителем.

Навык. Доля переменная — от близкой к единице до нуля, в зависимости от того, насколько компетенция отделима от среды, где была приобретена. Покупает положение. Срок — от немедленного там, где результат предъявляется сам, до нескольких лет там, где барьером служит не рынок, а орган, выдающий право практиковать; в этой полосе шкалы время уходит не на учёбу, а на её подтверждение перед учреждением. Зависит строка не от одной величины, а от двух: от независимости навыка от контекста и от спроса на той стороне. Обе перемножаются. Нулевая любая из двух не уменьшает результат, а стирает его, и потому строка эта заполняется не одним числом, а произведением, в котором вторая цифра человеку не принадлежит.

Социальный капитал. Доля нулевая — не малая, а именно нулевая, поскольку перемещается одна сторона отношения, а половина отношения ничего не стоит. Не покупает ничего: связи только сокращают дорогу, а в первый год сокращать нечего. Вместо срока восстановления в этой строке стоит длительность построения заново — годы, и это единственная строка, где вместо доли записана продолжительность. Зависимость есть, но своеобразная: скорость накопления задаётся не владельцем, поскольку копится она в чужих головах. И особенность, отличающая строку от всех прочих: владелец не вносит её в смету, так как не знает о её существовании, — строка появляется в расчёте задним числом, когда часть срока уже потрачена.

Строки эти, сведённые вместе, не только складываются, но и действуют друг на друга, и в одном месте это действие существенно. Деньги оплачивают срок — тот самый, который стоит во второй и третьей строках. Экзамены сдаются легче, когда не нужно одновременно зарабатывать; годы подтверждения переживаются иначе, когда они обеспечены; репутация строится быстрее у того, кто может работать даром или в убыток, пока его узнают. Полная проходимость первой строки, таким образом, покупает не положение, а время на его приобретение, — и это единственная форма, в которой деньги участвуют в судьбе остальных строк. Обратное действие тоже есть и тоже ограничено: восстановленные связи сокращают сроки, но не меняют долей.

Считается по этой матрице конкретный случай, а не разряд людей, и потому имеет смысл проделать счёт дважды. Человек, вывезший состояние и издававший газету: первая строка — единица, немедленно, средства; вторая строка — положение построено заново, десятилетие, и построено не на прежней компетенции, а на новой работе; третья — годы, потраченные до того, как напечатанное стало читаться. Германский судья 1933 года: первая строка — то, что успел вывезти, если успел; вторая — произведение двух нулей, потому что право оказалось знанием о постороннем предмете, а спроса на него не было нигде; третья — годы, которых у человека в пятьдесят лет уже не столько, чтобы построить сеть заново в новом занятии. Один и тот же расчёт, разные величины — и никакого обращения к достоинствам обоих.

Один и тот же человек, глядя на матрицу, видит не общий размер потерь, а их разложение: сумма перешла целиком, профессия перешла в доле, вычисляемой из двух известных величин, связи не перешли и потребуют лет. Расчёт этот производится до пересечения границы и без опытной проверки. Ни одна из входящих в него величин не требует ни отъезда, ни попытки: устройство занятия известно, наличие спроса устанавливается справкой, срок подтверждения записан в регламенте, а невидимость социального капитала перестает быть невидимостью в тот момент, когда для него отведена отдельная строка.

Принадлежности в матрице нет. Не потому, что её забыли внести, не потому, что она мала и ею пренебрегли, и не потому, что её трудно измерить, — а потому, что ни один капитал её не покупает: ни в какой доле, ни за какой срок, ни при какой величине спроса. Деньги покупают средства. Навык покупает положение. Социальный капитал не покупает ничего и ускоряет остальное. Третьей вещи не покупает ни одна из строк, и сложение строк её тоже не даёт — а именно на сложение и рассчитывает человек, полагающий, что достаточная сумма достижений в конце концов даст то, ради чего достижения затевались.

У этой пустоты есть устройство, и от него зависит всё дальнейшее. Каждая строка матрицы описывает нечто, чем человек располагает или чего лишился: сумму, умение, сеть. Принадлежность не находится в его распоряжении ни до границы, ни после — она есть решение сообщества о нём, принимаемое без его участия и без объявления. Расчёт же по устройству своему считает имущество, включая нематериальное; решения других лиц он считать не умеет, как не умеет считать погоду. Поэтому пропуск строки не является дефектом матрицы, который можно исправить, добавив колонку. Он является указанием на то, что предмет здесь другого рода и требует другого разбора — не арифметического.

Отсутствие строки и есть результат. Матрица считает средства и положение — то есть ровно те две вещи, которые вообще поддаются счёту, — и самим составом своих строк показывает границу собственной применимости. Инструмент, доведённый до конца, полезен ещё и этим: он сообщает, чего не измеряет. Вопрос о третьей вещи расчётом не решается ни в каком приближении, и обходиться с ним придётся иначе.

Единственный греческий случай в этом счёте потому и стоит особняком, что в нём принадлежность прошла не как результат конвертации, а как побочное обстоятельство редчайшего совпадения: принимающая сторона строила себя из того материала, которым владел приезжий. Такое условие не заказывают и не воспроизводят. Во всех прочих случаях исход одинаков независимо от размеров багажа — и это, пожалуй, единственное, в чём расчёт великодушен: он даёт один и тот же ответ богатому и бедному, знаменитому и безвестному.

Досмотр на границе проходит теперь до конца. Деньги пропущены целиком, без вопросов. Навык предъявлен, осмотрен и пропущен в доле — с отметкой о том, что часть его придётся подтвердить здесь заново. Связи не предъявлялись: их не показывают, потому что не думают, что они есть. И только принадлежность не имеет к этому досмотру отношения вовсе — не потому, что её отобрали или запретили ввозить, а потому, что она никогда не находилась в багаже. Она была свойством той стороны, а не тем, что пересекает границу.

Расчёт, стало быть, возможен, и точность его выше, чем принято думать. О том, как человек будет проживать результат этого расчёта, он не сообщает ничего. Разложение потерь по строкам и переживание потери — две разные величины, и вторая не следует из первой ни по знаку, ни по силе.

Глава 3. Статусная несоразмерность

Двое сидят в одной и той же комнате с одним и тем же доходом: один занимал низкое положение всю жизнь, другой потерял высокое полгода назад. По внешнему описанию они неразличимы — одинаковое жильё, одинаковая еда, одинаковый круг возможностей на завтра. Сломан из них один. Это расхождение не объясняется ни деньгами, ни обстоятельствами, ни характером, и потому требует другой величины: боль производится разностью, а не уровнем.

Разность не нуждается в границе. Разорение внутри собственной страны, на той же улице и в том же языке, даёт тот же результат, что переезд через континент, — и это самый простой способ проверить, что описывается устройством, а не эмиграция. Разность не является и состоянием: она разворачивается во времени по кривой, у которой есть точка пика и точка, после которой одно из двух положений становится пожизненным. Кривая воспроизводится от волны к волне у людей, ничего не знавших друг о друге.

И закрывается разность не тем, чем её пытаются закрыть. Возвращённое положение её не снимает — снимает её смена системы отсчёта, то есть согласие считать себя по той мере, которая здесь применяется. Пока согласия нет, остаётся то, что видно в чистом виде на одном парижском примере: имя, за которое ещё платят как за повреждённую вещь, но уже не платят как за положение.

3.1. Имя без содержания

Париж, вторая половина двадцатых. Человек, чьё состояние перед войной оценивалось суммами, сопоставимыми с состояниями царствующего дома, живёт в Булонь-сюр-Сен и содержит себя двумя способами: продаёт вывезенное и судится. Ни один из этих двух способов не является занятием. Занятие — то, что производит положение: место в порядке, регулярность, отношения с теми, кто оценивает результат. Распродажа и тяжба не производят ничего; они расходуют.

Разница здесь не в почтенности источников дохода, а в их устройстве. Занятие втягивает человека в отношения, где его работу принимают, оценивают и заказывают снова, — и именно из этой регулярности вырастает место в чужих расчётах. Продажа вещи не создаёт отношения: покупатель, заплативший за портрет, ничего не должен продавцу завтра и, как правило, больше с ним не встречается. Иск создаёт отношение временное и враждебное, начатое чужим решением снять фильм. Ни в одном из двух случаев вокруг человека не образуется круг людей, которым он нужен для чего-то, кроме однократной операции. Это и означает отсутствие занятия при полной занятости: дни заполнены, а место не производится.

Феликс Юсупов вывез из России немного по отношению к тому, чем владел, и очень много по отношению к тому, что вывезли остальные: драгоценности, зашитые в одежду, и два портрета Рембрандта, снятые с рамы. Портреты ушли в 1921 году американскому собирателю. Драгоценности уходили дольше и по частям. К середине двадцатых на эти деньги был открыт дом моды, к началу тридцатых он закрылся, и разница между вложенным и вернувшимся составила ещё одну строку расхода. Так выглядит единственный капитал, прошедший границу целиком, когда его начинают проедать: полная проходимость означает, что вещь сохранила цену, а не что она стала работать.

У расходования есть ещё одно свойство, которое видно только на больших группах. Продавали одновременно все: одна и та же волна вынесла на европейский рынок в одни и те же годы иконы, серебро, фамильные камни и портреты кисти известных мастеров. Покупатель знал это не хуже продавца, и знание входило в цену. Вещь сохраняла подлинность и теряла

условия сделки — не потому, что подешевела сама, а потому, что предложение стало срочным, а срочность считается. Так проходимость средств, полная по составу, оказывается неполной по курсу: через таможенную проходит предмет, а не позиция, с которой его продают. Позиция остаётся на той стороне вместе с возможностью не продавать.

Здесь важно различие, без которого сцена читается как сюжет о разорении. Разорение — исчерпание средств. То, что происходит, — исчерпание запаса без воспроизводства. Каждая проданная вещь однократно конвертируется в средства и выбывает из наличия; ничто не возвращается на её место, потому что механизм, который прежде производил доход — земли, заводы, управляющие, положение, дающее доступ к сделкам, — остался по ту сторону и не подлежал вывозу. Прошло имущество. Не прошло то, что делало имущество источником, а не суммой. Разница между суммой и источником не видна в первый год и становится единственным, что видно, к пятому.

Второй источник интереснее первого, потому что он выглядит как доказательство сохранности имени.

В 1934 году лондонский суд рассмотрел иск княгини Ирины Юсуповой к голливудской студии, выпустившей двумя годами раньше фильм о последних годах империи. Претензия состояла в том, что героиня картины была узнаваема как сама истица и показана обесчещенной. Присяжные согласились: студия выплатила двадцать пять тысяч фунтов — сумму, по тем временам крупную, — и изъела эпизод. Процесс был выигран полностью, деньги были настоящими, оценка ущерба реальной.

Победа доказала утрату. Суд признал, что имени нанесён ущерб, и назначил цену ущерба, — то есть обошёлся с именем как с повреждённым предметом, за порчу которого положено возмещение. Возмещение получают за вещь. Ни одно из свойств, ради которых имя вообще имеет смысл, в процессе не участвовало и не подтверждалось: имя не открыло ни одной двери, не прибавило веса ни в одном разговоре, не сделало своими ни истицу, ни её мужа ни в одном из парижских кругов, где решалось, кого приглашают. Оно сработало ровно один раз и ровно в той функции, в какой срабатывает любое узнаваемое имя, — как объект, поддающийся оценке в деньгах.

Тот же счёт с обратным знаком был предъявлен семью годами раньше и обнаружил ровно то же самое. Продавая портреты в 1921 году, Юсупов оговорил условие обратного выкупа: до начала 1924 года он вправе забрать их за ту же сумму с процентами — если к тому времени будет в состоянии держать их у себя и владеть ими лично. Оговорка эта есть расчёт человека, полагавшего своё положение временно приостановленным, а не отменённым. Деньги он нашёл и предъявил в срок. Деньги были заёмными, картины заложены под заём, и покупатель отказал, сославшись ровно на ту часть условия, которая касалась не суммы: заплатить за проданное не значит быть в состоянии им владеть. Тяжба шла несколько лет и в 1927 году кончилась в пользу покупателя. Здесь имя не сработало вовсе — потому что предъявлено было не имя, а сделка, а сделка держится на условиях, а не на том, кем является сторона. Два процесса, выигранный и проигранный, дают один результат: там, где действует закон, фамилия является либо оцениваемым предметом, либо ничем. Промежуточной функции — той самой, которую она выполняла всю предыдущую жизнь, — правовая процедура не предусматривает, потому что и не должна: её никогда не выполняли учреждения.

Платил суд, а не сообщество. Статус — не свойство человека и не свойство его фамилии; это отношение, поддерживаемое теми, кто признаёт. Пока сообщество существует и признаёт, имя работает без всякого суда: оно само является пропуском, аргументом и объяснением. Когда сообщество исчезает, остаётся строка в реестре узнаваемых обозначений, и распорядиться ею можно единственным способом — предъявив её как повреждённое имущество тому, кто обязан считаться с чужой собственностью по закону. Закон обязан. Комната — нет.

Отсюда различие: известность и статус — разные вещи, и совпадают они только по совпадению.

Известность не требует зоны хождения. Она держится на распространении сведений и потому пересекает границу почти без потерь: имя узнают в городах, где о его носителе никогда не слышали как о положении, и узнавание это не предполагает ничего, кроме узнавания. Статус существует только внутри признающего сообщества и вместе с ним заканчивается. В работающей системе оба свойства сидят на одном имени и потому неразличимы: князя знают, потому что он князь, и он князь для тех, кто его знает. Расщепление наступает мгновенно и обнаруживается не сразу — по той же причине, по которой не сразу обнаруживается разница между суммой и источником. Внешне ничего не изменилось: имя произносят, оборачиваются, спрашивают, тот ли это. Изменилось направление: раньше на имя приходили, теперь на него смотрят.

Чем громче имя, тем убедительнее подмена и тем дольше она держится. Носитель редкой фамилии, которую в Париже двадцатых годов знали по газетам, получает достаточно подтверждений в неделю, чтобы не пересматривать расчёт: его узнают на улице, о нём пишут, издатели заказывают ему воспоминания и платят за них. Всё это — операции с известностью, и все они конечны так же, как распродажа: имя расходуется. Воспоминания пишутся один раз, интерес к сюжету исчерпывается, поводов для исков ровно столько, сколько чужих людей сочтут выгодным использовать сюжет. Владелец имени не управляет ни одним из этих поводов. Он ждёт, пока кто-нибудь снова снимет фильм.

Это и отличает известность от положения в самом практическом смысле. Положение производит спрос само: человек, занимающий место, нужен другим людям постоянно, потому что через него что-то решается. Известность спроса не производит — она на него отвечает. Пока сюжет интересен, владелец имени востребован в качестве иллюстрации к сюжету; интерес угасает по своим законам, к нему отношения не имеющим. Поэтому опись имущества человека, вывезшего из России имя, выглядит так: средства, конечные и расходуемые; известность, конечная и расходуемая; положение, отсутствующее; принадлежность, не рассматриваемая даже теоретически, поскольку сообщества, которое могло бы её выдать, больше нет физически.

Против этого есть сильное возражение: колония существовала, титулы внутри неё признавались, и человек с именем занимал в ней вполне определённое место. Это верно, и это не меняет описания. Признание внутри группы, чей собственный статус обнулён, воспроизводит иерархию без предмета: место в списке сохраняется, а то, что список когда-то распределял, — доступ, вес, возможность решать — распределять уже нечего. Валюта продолжает ходить между теми, кто согласился её принимать, и не принимается больше нигде.

Двадцать пять тысяч фунтов были получены за имя. За него же в другом веке отдавали земли, должности и родство. Разница не в сумме и не в том, что суммы стало меньше. Разница в том, кто платит: в первом случае — суд, обязанный по закону оценить причинённый вред, во втором — люди, которым имя что-то говорило о том, как с его носителем себя вести. Первое покупается однократно и подтверждает, что купить больше нечего.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.